

ЛЕОНИД БЕЛЯЕВ

1

Нужно различать постоянно действующие факторы, заложенные в психике современников (= людей Нового времени) и появившиеся недавно во всем мире и у нас в России. Например, любому свойственна тяга к таинственному и наряду с этим — тяга к новому, внезапному, к смене точек зрения, усталость от повторения раз и навсегда записанных формул. Отсюда, например, легкость усвоения идеи «периодических катастроф», вера в великанов, уважение к пещерам и вообще «подземной жизни». Интерес современного человека (= «непрофессионала») к гуманитарным наукам вообще вещь нормальная, они на то и гуманитарные, он возник давно (существует и «парабиология», особенно в формах самолечения, изобретения систем оздоровления в медицине, на ней держится ремесло шарлатана).

Итак, человеку свойственно тянуться к страшноватому, загадочному, чудесному. Он скучает от однообразия твердо установленных истин, от того даже, что $2 \times 2 = 4$. Ему свойственно также интересоваться своим телом и душой (включая их историю), ощущать «доступность» и «простоту» гуманитарного знания, его принадлежность и необходимость всем. Отсюда кажущаяся неделимость на «профанную» и «жреческую» области.

В наше время ожили и получили известное развитие тупиковые области протонаук прошлого, которые казались 100 лет назад окончательно мертвыми, такие как астрология, алхимия, каббала и им подобные. Это, конечно, частичный возврат к Средним векам, но ведь он нас не удивляет. Раздражает, даже отчасти пугает, но все-таки выглядит естественным. Более того, мы сами его порождаем с 1980-х гг., когда обрели в исследовании протонаучных форм род противоядия от «диамата».

Но почему это все не остается за пределами науки, а рвется внутрь нее? Дело в том, что с начала Нового времени формируется иерархия информационных ценностей с вершиной в области науки, вернее — науки точной и естественной, где гуманитарные области занимают сравнительно небольшое место (в Средние века, как известно, было наоборот — гуманитарное знание превалировало). Так что с XVII–XVIII вв. и особенно в XIX–XX вв. любое знание, рассчитанное на принятие его обществом, поневоле облечено в одежды науки. Понятно, что к этому облачению тянутся все, кто хочет получить место под солнцем идеологии в любых ее формах, завоевать популярность.

Есть и третья важная составляющая. Это уже наше собственное, российское. «Хватается, кто тонет, говорят, за паутинку и за куст терновый». За что еще хвататься людям, потерявшим идеологическую (напишем «духовную» — ничего не изменится) опору? За религию? Мы видим ее оживающей в большом количестве вариантов и в огромном масштабе. Казалось бы, именно здесь выход для тех, кто не привык самостоятельно определять свое место во Вселенной (дело это нелегкое и требует немалой доли гордыни). На самом деле спастись не получается: истинное, коренное верование — не повязка для больного, оно не защитит тех, кто потерял почву под ногами. Тут нужна традиция верования (лучше всего — родиться в религиозной семье). На крайний случай — особая милость высших сил или большое несчастье (первое за гранью науки, второе лучше не накликасть).

Если говорить о сегодняшнем дне, то следует выделять непрофессионалов, так сказать, случайных, и непрофессионалов злостных.

Первые просто не понимают отличия науки от досужных рассуждений, попадают в простейшие ловушки типа «здравый смысл подсказывает». Они недостаточно информированы, не владеют техникой критического анализа, путаются при целеполагании. В большинстве это, конечно, те, кто не прошел профессионального обучения, хотя в сегодняшней реальности среди них есть и такие, кто формально принадлежит к числу

ученых (*nomina sunt odiosa*) и даже достигает известных степеней — таков уж наш «пейзаж после битвы». Для «добросовестных» непрофессионалов часто целью является само присутствие в науке, участие в дискуссии. Они убеждены, что им есть что сказать профессиональному сообществу, но их не хотят слушать.

Вторая группа непрофессионалов — те, кто фальсифицирует историю из корыстных (в широком смысле слова) соображений. Среди них тоже есть, конечно, и обученные (их даже много), и неученые люди. Возможны пограничные, смешанные версии. Допускаю, например, что Михаил Задорнов отчасти принадлежит к невинным непрофессионалам, к тем, кто искренне считает, что совершил некое открытие, но трудно отрицать, что он одновременно отвечает (искренне или неискренне — неважно) на вполне ясный запрос общества на «националистическую эстрадную репризу», используя ожидания значительной части аудитории. В большинстве своем такие фальсификаторы более или менее сознательно идут навстречу политическому и / или националистическому ангажементу. Для самой науки особенно опасны те, кто создает подделки на уровне, с первого взгляда, профессиональном. Оставаясь формально внутри научной среды, они, можно сказать, сознательно вводят себя в круг непрофессионалов, причем непрофессионалов злостных, «портящих» науку.

Есть еще одно общемировое, но особенно опасное для России явление. Лет 200—300 гордо высившаяся на пьедестале строгая наука в последние полвека оказалась очень уязвимой для критики со стороны общества, и перед непрофессионалами открылся ряд «брешей» для вмешательства в дела науки.

Первая брешь — разочарование в результатах научного прогресса. Бомбы и яды, мир искусственных материалов и неорганической еды, пересадка похищенных органов — это то самое светлое будущее, которое ожидалось от науки? Обычно не берут в расчет, что ученые — это не партия, во всяком случае не политическая партия. Они не должны давать социальных обещаний и не могут за них отвечать, в крайнем случае, ученому можно предъявить личный счет (скажем, за сотрудничество с нацистами), но наука как часть культуры человечества тут ни при чем.

Гуманитариям счет в России предъявляют еще охотнее. Кто, как не они, по сути дела подменили собой священников после разгрома религии? Кто держал народ в темноте, убеждая его в превосходстве социалистической системы? Кто придумал коммунизм, в угоду власти крутил и поворачивал историю и литературу как угодно? Они не стоят не только доверия —

доброе слово. Конечно, были и у них отдельные честные (все сплошь мученики, вроде Льва Гумилева). За ними и нужно следовать, не слушая «официальных», «официозных» историков, филологов и прочих «логов». Отсюда восприятие паранауки как «преследуемой», «заушаемой»: все неофициальное преследуют — и преследуют за правду (тут — прочный подмалевок национальной истории, его легко не смоешь).

Вообще, почему это гуманитарии узурпировали право на прошлое? Раз науки общественные — значит и собственность на них общественная. А материальные носители следов прошлого: рукописи, иконы и другие вещи, городища, кладбища всех эпох? Это почему же ученые решили, что они хозяева, эксклюзивные исследователи всех этих богатств? Прошлое и его памятники принадлежат нации, а значит, всем и каждому, а значит, никому в отдельности. Даже рукописи и иконы в музеях требуют вернуть тому или иному сообществу, что уж тут говорить о мумиях, селищах и находках на них. Вопрос о праве на интерпретацию, публикацию и все прочее даже и не ставится — это право принадлежат всем, а значит, все точки зрения изначально равны, а следовательно, между любителем и профессионалом нет разницы, цена их выводов равнозначна, вернее, ее определяет востребованность и, соответственно, успех (ну количество «лайков», что ли). На первый взгляд, путь доступен каждому: взял пару учебников мировой истории — и знай себе перемешивай цивилизации, лишь бы получалось интересно и выгодно.

Да и необязательно читать учебники. В дело вступает важная новая причина уязвимости гуманитарной науки. Эта причина — очень высокая степень доступа к информации, как к ее получению, так и к распространению в новых условиях. Возьмем «простое»: историографию или даже просто список литературы. До 1980-х гг., чтобы его составить, нужны были определенные усилия. Уж минимум посмотреть две–три книги. В подавляющем большинстве случаев — сходить в библиотеку, пролистать там картотеку, сделать выписки. Даже если решил списать целиком, и то нужно будет потрудиться, переписывая или перепечатывая на машинке название за названием. Сейчас всего этого не нужно: Сеть предложит ready-made рефераты (среди них бывают и качественные), изложения, обсуждения, дискуссии, списки книг и статей и пр. Знай тасуй. Можно даже не набирать собственного текста. В Сети все больше классических и современных сочинений, архивных материалов и иллюстраций¹. Так чего там копили так долго ученые, целые жизни

¹ Полоса переключения на электронные средства и выхода к почти бескрайним ресурсам сети Интернет для большинства русских ученых (во всяком случае знакомых мне гуманитариев) проходит

на это клали? Ша мы это все в один миг разберем, пришло наконец время для свободного анализа и дискуссий!

Итак, информационный бум привел к информационному шоку. Профессиональное собирание данных в «медленных» науках и, соответственно, владение ими — это опора строгого знания, которая стала гораздо тоньше и вот-вот подломится. На огромном информационном поле можно будет пастись, прикладывая минимум труда. На самом деле, профессионалы по-прежнему нужны, но их функции меняются. Резко возрастает потребность в правильном целеполагании, в умении ставить точные вопросы, фильтровать океан сырых (часто некачественных) данных, видеть все поле дискуссии, а не только его выбранную часть, наконец, анализировать данные, следуя определенным методам (правилам). Но всего этого дилетанты именно и не понимают, на этом они, даже добросовестно старающиеся, спотыкаются. Это особенно видно в работах аспирантов, учившихся не в лучших вузах: наряду с качественной, надежной научной литературой они тащат в свои статьи массу наукообразного хлама, подчас выпущенного серьезными издательствами.

Информационная открытость втянула в общую гуманитарную дискуссию огромную массу слабо образованных с точки зрения профессионала людей (Солженицын сказал: «образованщина», — но термин очень уж груб). Они частично заполняют ниши и других наук, особенно естественных, в которых тоже многое кажется доступным без специальной подготовки, хотя и в меньшей степени. Отчасти страдают даже точные науки — существуют парафизика, параастрономия — и, что совсем смешно, прикладные области (вспомним знаменитые «фильтры Петрика» — тут даже «практика как критерий истины» бастует и сдает). Ведь правящий слой посылает ясные сигналы: нам не нужно качественно и надежно — нам нужно броско, нужно всем показать кузькину мать, и чтобы зрители, свои и чужие, «покупались». Отнюдь не только наука — вся социальная атмосфера пропитана ядом неподлинности: расцвел эрзац или, хуже, фальсификация, подделка. Но все-таки для фантазий там меньше раздолья — многое можно просчитать и доказать объективно, да и специальные знания требуются такие, какими любитель обычно не владеет.

по 1990-м гг. Впервые попав в 1993 г. в США, я даже там застал этот процесс не до конца завершенным. В продвинутом из продвинутых Стэнфорде библиотеки сохраняли рабочие картотеки и справочные кабинеты, а рядом на столах стояли компьютеры, причем и с тем, и с другим активно работали. Среди профессуры можно было найти не желавших изучать компьютер или не одолевших его. Но в целом переход был проще хотя бы потому, что абсолютное большинство пишущей братии и в докомпьютерную эру пользовалось там не ручкой, а машинкой (иногда уже электронной, с дисплеем). Сегодня без Интернета обходятся в основном чудачки, хотя это необязательно неспособные или несовременные ученые.

Зато математик (поскольку он в то же время человек) зачастую полагает возможным претендовать на свою долю в историческом наследии и в его изучении — как «новые хронологи» (всем или почти всем наконец наскучившие) и не только они (можно указать на целые серии групп и группок «непрофессионалов», собирающихся вокруг того или иного профессора математики или антропологии, а то и просто инженера, решившего поиграть в хронологию или попользоваться от идентификаций исторических личностей, или вообще чем-то таким интересным позаниматься, используя имеющийся багаж). Тут, кстати, неприятнейшая лазейка для ученых в огород друг к другу: выводы и методики естественных и точных наук гуманитарии обычно недоступны, он не может их отследить и проверить, так что пограничные исследования, как ни обидно это для обеих сторон, очень опасная сфера, где грань паранауки можно переступить незаметно для себя и окружающих (а раз так — то и сознательно можно переступить, авось никто не заметит). См. следующий ответ.

2

Очень трудно удержаться в границах науки, уходя в соседнюю, тем паче в далекую от гуманитарных наук сферу. Особенно это угрожает археологам: они часто работают в союзе с представителями естественных и точных наук. Пока неясно, что опаснее: опираться полностью на результаты коллег-натуралистов или пытаться самостоятельно разобраться в их приемах. То и другое — риск. Крайне редко видишь ученого-гуманитария, действительно владеющего методами анализа негуманитарных наук или хотя бы глубоко понимающего, что именно происходит в этих областях. В общем, это касается и других более близких на первый взгляд специальностей: историк не понимает археолога, лингвист — историка, оба они — филологов или искусствоведов и так далее. Вероятно, гуманитарий должен в основном вести анализ в поле своей науки, а вместе сводить уже готовые результаты, стараясь уверенно ориентироваться (вряд ли возможно большее) в сферах тех наук, данные которых привлекаются.

Между непрофессиональным и псевдонаучным текстом граница очень тонкая, нужно каждый случай разбирать отдельно (и неизвестно, что вреднее — часто явная псевдонаука настолько очевидна, что вредна только области общей культуры, а внутри профессионального сообщества менее опасна).

Если перед непрофессионалом (журналистом, литератором и т.п.) ставится задача пересказать чужой текст своими словами и это сделано удачно, то отличие непрофессионализма от паранауки очевидно. В остальных случаях его нет.

3

Прежде всего по признакам нарушения процедуры исследования. А также по бесчисленным мелким ошибкам фактического свойства, по незнанию одних работ и произвольному цитированию других, по замалчиванию и выборочному цитированию. Очень часто — по массе риторики, категорическому и вместе с тем обиженному тону. По очевидному стремлению подгонять решения под готовый ответ. По темам: процентов восемьдесят любителей собираются вокруг давно поставленных псевдovoпросов (Атлантида, пришельцы, методы строительства пирамид и т.п.). Зачастую опознаю интуитивно: примет много, но все не перечислишь. Льва узнаем по когтям, осла — по ушам.

4

Важно прежде всего заявить, на какой стороне ты находишься, с кем ты, как сказали бы раньше. Это совершенно необходимо.

Противостою открыто, когда паранаука встречается в моей области (в том числе анализирую заказные идентификации останков исторических персонажей). Кроме того, по должности редактора научного журнала не пропускаю в печать явную лже- и псевдонауку, стремлюсь сделать критику строгой и объективной, не принимать статей с фальсифицированными материалами (из нелегальных раскопок, например), провожу круглые столы¹.

Думаю, мы много проигрываем в смысле общественных связей, так как не учим ученых риторике. И вообще мало учим своих студентов на практическом деле различения науки и «ненауки», не учим отличать лженауку.

В то же время понимаю тех, кто считает ненужным для серьезного ученого тратить много времени на полемику или «разоблачения». Нам бы стоило сперва разобраться внутри профессионального сообщества. Особенно близка мне форма борьбы *pro domo sua* — за то, чтобы не допускать непрофессионализма в личной, своей, работе. Нужно хорошо делать свое дело и убедительно писать (и говорить) о результатах. «Спасись сам — и тысячи спасутся вокруг», — сказал один вовсе не ученый, хотя по-своему очень профессиональный человек.

¹ Принял участие в круглом столе «Фальсификация источников и национальные истории. Материалы круглого стола» (см. его тезисы: М., 2007. С. 7–8 и 9–15) и в формировании сборника по нему («Фальсификация исторических источников и конструирование этнократических мифов», М., 2011), где опубликовал две статьи («Заметки о фальсификатах в археологии». С. 51–66; «Между наукой и областной администрацией: опыт фальсификации останков Ивана Сусанина с помощью заданной интерпретации археологических и судебно-криминалистических исследований». С. 248–267, соавторы А.Е. Петров, А.П. Бужилова), последняя из них имеет популярную версию («Патриотический скелет в народном шкафу») для журнала «Родина» (2007. № 8. С. 58–63). В журнале «Российская археология» проводил круглый стол по вопросу о грабительских раскопках и их последствиях для науки (материалы опубликованы). Готовится стол по этике в археологии и вопросам фальсификации ее данных.

ЕЛЕНА БЕРЕЗОВИЧ

1

Я лингвист — и замечаю лавинообразный рост интереса непрофессионалов к таким областям языкознания, как этимология и ономастика (в первую очередь топонимия и антропонимия). Ну а если «скрестить» эти области друг с другом, то мы получим самую страдающую, мне кажется, от наплыва непрофессионалов сферу лингвистики — ономастическую этимологию (см., к примеру, один из наиболее свежих шедевров в этой области — книгу В. Макаренко «Из истории названий городов и сел, связанных со становлением и развитием Государства Российского» (М.: Страдиз-Аудиокнига; Минувшее, 2012), с содержанием и избранными главами из которой можно познакомиться здесь: <<http://artifact.org.ru/annotatsii-knig/vadim-makarenko-iz-istorii-nazvaniy-gorodov-i-syol-svyazannih-so-ustanovleniem-i-razvitiem-gosudarstva-rossiyskogo.html>>).

Почему притягательны именно эти области лингвистики? Здесь сталкиваются разные факторы, связанные, во-первых, с потребностями самих непрофессионалов, во-вторых, с состоянием профессиональной науки в соответствующей области, в-третьих, с состоянием системы образования.

Сначала о потребностях непрофессионалов. Объекты, с которыми имеют дело названные выше области лингвистики, входят в «микромир» каждого человека: естественная любознательность диктует интерес к истории собственного имени, фамилии, происхождению названий родных мест и проч. Все это неотъемлемая часть человеческой «идентичности». Далее. Через имена — в силу их единичности и вместе с тем повторяемости в более широком контексте («Наша уральская речка Потам естъ и у греков, у них “потам” значит “вода”»), четкой привязки к социохронотопу — сфера отдельного человека оказывается связанной

Елена Львовна Березович

Уральский государственный
университет им. А.М. Горького,
Екатеринбург
berezovich@yandex.ru

с «большой» историей и географией. Такое соединение «микромира» и «макромира», заложенное в природе имени, нередко побуждает человека воспринимать имена с позиций патриотизма, идеология которого тоже основана на сопряжении личного и общего. Представляется, что штудии большинства непрофессионалов в их собственных глазах направляет именно патриотизм (не буду здесь обсуждать особенности его понимания).

Теперь о встречах факторах со стороны профессиональной науки, а именно — ее состояния и особенностей взаимодействия с обществом. Как известно, этимология (в особенности ономастическая) наиболее наукоемкая область филологического знания, требующая на каждом исследовательском шагу привлечения данных многих частных филологических наук — фонетики, морфонологии, словообразования, семантики и проч. Этимологов в нашей стране (да и вообще в мире) единицы — и это не художественное преувеличение. Эта наука пользуется усложненным метаязыком, зачастую недоступным «простому» читателю. Увы, не открыты до сих пор лучшие хранилища для моделей, способствующих верификации этимологических решений, чем человеческая память и опыт, поэтому специалист в этой области нередко достигает своей рабочей формы через 30 и более лет научной деятельности. Разумеется, у этих специалистов не хватает сил на популяризацию достижений своей науки (при этом в академических институтах и университетах, как мне представляется, отсутствуют особые рычаги поощрения популяризаторской деятельности). Прочитать же и понять словарную статью нашего самого авторитетного на сегодняшний день «Этимологического словаря славянских языков» не может не то что непрофессионал, с этим справится далеко не каждый выпускник филфака педвуза.

Наконец, о сфере образования. Особенности преподавания языков (в том числе русского) в нашей школе таковы, что история языка отсутствует в программе как отдельная дисциплина — и микроскопические крупинки сведений из этой области попадают в головы учащихся крайне редко (в специализированных гимназиях, на факультативах, на уроках некоторых хорошо подготовленных учителей-энтузиастов, при подготовке к олимпиадам etc.). Такая практика сложилась в советские годы и не изменилась сейчас. Поэтому наше общество (даже высокообразованная его часть, за исключением узких профессионалов) практически не готово к самостоятельной оценке и верификации фактов из области исторической лингвистики и этимологии. «Языковое чутье» — это ведь не собачий нюх. Это навык, который должен быть развит, взращен и отработан на практике — при знакомстве с логикой множества научных этимологических решений.

Таким образом, срабатывание комплекса выделенных факторов дает всплеск интереса к наивной этимологии (особенно ономастической), и, кажется, сказанное применимо к другим областям непрофессионального гуманитарного знания. Классическая иллюстрация — нынешние лингвистические «открытия» известного выпускника Московского авиационного института. Вспоминаю именно его, потому что он наиболее «многотиражен», разножанров (нынче вот кино снял) и доступен массовому читателю и особенно зрителю, а потому приносит больший вред, чем сотни, если не тысячи других непрофессионалов с узким радиусом действия.

4

Не обращать внимания на непрофессиональные разыскания, конечно, нельзя. Особенно в той ситуации, когда в сфере популярного знания псевдонаука количественно начинает существенно теснить науку профессиональную (числом изданных книг, их доступностью, вхождением в практику школьного преподавания и проч.). Другое дело, что у ученых-профессионалов в нынешнем их положении попросту не хватает сил и времени на реакцию. Что касается моего опыта, то мне приходится сталкиваться в первую очередь с краеведами, интересующимися географическими названиями своего края. Нередко это очень интересные и знающие люди, настоящие энтузиасты, которых, конечно, всецело хочется поддерживать. Но встречаются и агрессивно настроенные краеведы, считающие, что раз они «здесь живут», то только им подвластны тайны местных названий, которые древнее санскрита и древнегреческого, имеют исключительно славянские корни, а если «буквы» в санскритском и северно-русском топониме «немного непохожи», то это поправимо: под выводы автора рисуется новая таблица «буквенных» соответствий. Иногда их деятельность поддерживается местной администрацией, культурная политика которой нынче нацелена на «прославление малой родины» и создание местной мифологии. Раньше я сталкивалась с этим преимущественно в экспедициях на Русский Север, когда мы встречались с работниками отделов и домов культуры, библиотекарями, учителями сельских школ, которые показывали нам книги краеведов (нередко рекомендованные к изучению на уроках и к использованию в различных «культурных мероприятиях»). Мы пытались проводить беседы, читать лекции, где рассказывали о происхождении местных названий и давали этимологические версии, альтернативные непрофессиональным. Конечно, успевали сделать крайне мало. Когда появился журнал «Вопросы ономастики» и я вошла в его редколлегию, а потом стала редактором, количество встреч с краеведами резко увеличилось. Мы пытаемся реагировать: какие-то фрагменты непрофессиональных текстов

редактируем и публикуем, отвечаем на письма, посылаем свой журнал и другие книги, приводим ссылки на хорошие словари etc. Но, к сожалению, все больше приходит категоричных и резких писем, авторы которых враждебно настроены по отношению к академической науке. Общение с ними проходит по схеме «положи палец в рот...». Сначала, к примеру, настоятельно требуют организовать конкурс на этимологию топонима *Москва* (приз — ключи от четырехкомнатной квартиры в центре столицы), сетуя по поводу того, что другие мировые столицы уже имеют ясные и понятные этимологии своих названий, а мы отстаем. Если ты обстоятельно отвечаешь, разбирая существующие версии, объясняя, почему невозможно «назначить» единственно верную и т.п., то тебе тут же присылают собственные фантастические гипотезы с полным неприятием и шельмованием научных, затем следуют обвинения в отрыве от народа, который, дескать, имеет право знать, куда уходят его денежки (на которые мы пишем книги, организовываем экспедиции и вообще жуируем жизнью, занимаясь не тем, что нужно) etc. Конечно, на таком уровне вести полемику невозможно, поэтому редакция от нее уходит. Тем не менее, повторю, я считаю, что мы не имеем права уклоняться от контактов с непрофессионалами, которые иногда могут и нас чему-то научить и которым — если они умеют слышать — мы иногда можем открыть одну из дверей в научный мир.

СВЕТЛАНА БОРИНСКАЯ

1

Это свидетельствует об отмене цензуры, о росте числа СМИ разного качества (низкое проще сделать, чем высокое) и снижении требований к качеству статей журналистов и околонуучных и ненаучных персон, пишущих о науке. Выбор научных тем связан с сохраняющимся высоким авторитетом ученых (опросы показывают, что в качестве источника информации, например, по вопросам, касающимся здоровья, ученые стоят на первом месте, затем врачи, знакомые, политики — на последнем). Ведь никто не стремится создать себе имидж слесаря или известного патентоведа. А самозванных академиков развелось немерено. Параллельно идет процесс снижения уровня грамотности по сравнению с 1980-ми гг.

Светлана Александровна
Боринская
Институт общей генетики
им. Н.И. Вавилова РАН,
Москва
borinskaya@vigg.ru

Прописной истиной журналистики является то, что большинство людей интересует (1) то, что касается сохранения здоровья и благополучия (медицинские темы, воспитание детей, возможности человека, есть ли жизнь после смерти и т.п.), (2) их место в пространстве и времени (история и география, антропологические и культурные различия народов древности и современности, отчасти астрономия и др.) и (3) темы, касающиеся секса (как быть привлекательным, опять-таки различия традиций разных времен и народов и т.п.). Полагаю, в основном эти темы и притягивают непрофессионалов — то, на что есть спрос.

2 Граница определяется добросовестностью ученого и применением адекватных методов в адекватных границах. Переступая границы, ученый должен либо стать профессионалом в новой области, либо взаимодействовать с профессионалами (это не всегда легко, но, как показывает наш опыт создания междисциплинарных команд, вполне возможно). Остальное — к психиатрам.

3 Отсутствие научной методологии, нарушение логики могут быть видны на любом предмете исследования. Один из смешных признаков паранаучности — написание терминов с заглавной буквы там, где это не требуется («в этом отношении Наука», «разработанная нами Теория...» и т.п.).

4 Отношусь положительно — люди стремятся к знаниям, проводят большую работу по популяризации знаний, обращаются за консультациями к экспертам. Пример — сообщество «ДНК-генеалогия». Это хорошие, грамотные непрофессионалы. Хороший непрофессионал, узнав, что у него что-то некорректно изложено, стремится исправить, пополнить свои знания. И стремится обосновывать различные утверждения принятым в науке способом, со ссылками на результаты исследований. Создатель паранаучного текста жонглирует терминами, имитирует эрудицию, не к месту шутит, высокомерно поучает. Переубедить его чаще всего невозможно, так как его целью является не поиск истины, а (1) трансляция своих прозрений вне зависимости от их связи с реальностью, (2) мошенничество. Его отличает дремучая неграмотность, которая не поддается коррекции, так как автор убежден, что его знания являются пределом мудрости. Далее см. Фуко о животных, буйствующих как в безумии, и др.

АЛАН БОУМАН

Фальсификации и фантазии

Высшие стандарты современной науки требуют, чтобы линии аргументации были прозрачны, а изложение обоснований аргументов позволяло читателю самому проверить все основные «факты». Историки классической античности не придавали последнему требованию большого значения, хотя некоторые, например Геродот, иногда все-таки предлагали альтернативные версии событий и сообщали о своих предпочтениях, если не были уверены в надежности того или иного источника. Сознательно или нет, древние исторические повествования могут вводить в заблуждение, и современный аналитик не всегда способен с уверенностью распознать в них тенденциозность, обман или простую ошибку. Иногда кажется, будто все очевидно, тем не менее всегда нужно задумываться о возможных мотивах и углах зрения. Возьмем, к примеру, предполагаемую «лживость» историка ранней Римской империи Веллея Патеркула, который представил искаженную и чересчур благоприятную оценку своего современника императора Тиберия по причинам, связанным с продвижением собственной политической карьеры. Однако теперь, по прошествии 2000 лет, обман не так-то просто обнаружить, к тому же не всегда можно позволить себе такую прямолинейность. Как следует охарактеризовать Веллея — как всего лишь «твердолобого старого солдафона, ничтожество, неумелого любителя, подлого подхалима» или еще и как «искусного лжеца»? По меньшей мере один критик уверен, что в 1979 г. жюри продолжало совещаться по этому вопросу, да и сейчас еще не вынесло решения. Главное же, что есть контраргументы, на которые стоит обратить внимание, если мы пытаемся найти место этого историка на шкале между искаженной перспективой и явной ложью [Sumner 1979]¹.

Алан Боуман (Alan Bowman)
Оксфордский университет,
Великобритания
alan.bowman@classics.ox.ac.uk

¹ Ср. мнение Р. Сайма, выраженное (среди прочих) в: [Syme 1978], переиздание в "Roman Papers" III (Oxford, 1984), p. 1090–1104.

Комбинации подлинного исторического факта и буйной фантазии тоже уходят корнями в далекое прошлое. Хрестоматийный пример — «История Александра Великого» (или «Псевдо-Каллисфен»), в которой теперь невозможно отделить черты «реального» исторического Александра от мифологического образа. Трудно сказать, насколько читатели, скажем, Александрийской библиотеки в III в. до н.э. могли доверять рассказу Диктиса Критского о Троянской войне, который якобы является свидетельством очевидца. Вероятно, они могли судить о его надежности еще менее уверенно, чем мы сейчас. Как бы то ни было, этот текст прожил долгую жизнь: некоторые греческие копии делались даже в III в. н.э., а на латынь он был переведен в IV в. неким «Л. Септимием» с посвящением «Кв. Арадию Руфину», предположительно префекту Рима в 376 г. н.э.¹ Пролог к этому переводу сообщает, что после землетрясения в правление Нерона раскрылась могила Диктиса в Кноссе, где обнаружили таблички с его дневниками, которые были переведены на греческий с языка оригинала, финикийского, и отправлены императору. Это те самые подробности, которые маскируются под ссылки на источники и явно призваны убедить в их мнимой подлинности [Syme 1979: 643].

Интересный и сложный случай античной фальсификации, который и сейчас занимает исследователей, это так называемая «История Августов», сборник латинских биографий римских императоров с 117 по 284 г. н.э. Этот сборник имитирует стиль имперских биографов, таких как Светоний, и выглядит как совместный труд шести различных названных по именам «авторов» (“scriptores”), составленный в эпоху Константина. Герман Дессау в 1889 г. первым предположил, что это не соответствует действительности, и с тех пор этот текст рассматривается как произведение «одного проказливого ученого, который создал пародию на начитанность и заслуживает признания как шутник» [Syme 1979: 649]. Дату создания этого текста до последнего времени относили примерно к 393/4 г. н.э., как это предложил Сайм, но недавно была выдвинута детально аргументированная гипотеза, что эту дату следует сдвинуть на поколение раньше, во времена Юлиана Отступника [Cameron A. 2011: 743–782]. Некоторые «жизнеописания», особенно хронологически более ранние, содержат больше надежной информации, чем другие. Все они представляют собой смесь фактов, домыслов и фантазий с основательными цитатами из несуществующих «документов» и вымышленных персон, описанных с внешне достоверными подробностями. Приведу один типич-

¹ Недавно опубликовано два фрагментарных папируса с частями этого текста; см.: [The Oxyrhynchus Papyri 2009: nos. 4943–4944].

ный пример из множества: в повествовании об императоре Аврелиане (270–275 гг. н.э.) автор странным образом объединяет троих разных людей с именем Фирм: префекта римской провинции Египет в конце III в., богатого александрийского купца и друга пальмирской царицы Зенобии, а также мятежного африканского правителя периода правления Валентиниана, веком позже. Первый и последний, возможно, и были реальными людьми, второй же, видимо, полностью выдуман [Bowman 1976: 158]¹.

Мотив здесь определить нелегко. Этот текст вызвал огромное количество академической, часто сухой и скучной источниковедческой критики, которая сводится к тому, что в «Истории Августов» ничего нельзя принимать на веру, если этому нет подтверждения в другом, надежном, источнике. Можно предположить, что шаловливый автор-обманщик хотел провести излишне легковых, что в конце IV в. было, вероятно, не сложнее, чем в XIX (пока не появился Дессау). Но зачем? Может быть, это была просто шутка ученого. Но, возможно, там были и некие скрытые причины, которые мы могли бы вполне достоверно обнаружить, учитывая контекст эпохи и исторические обстоятельства, если бы только располагали точной информацией (а не гипотезами) о дате написания текста. Это тем более важно, что можно легко придумать альтернативные и очень разные мотивы для создания такого причудливого учебного сочинения и в правление последнего «языческого» императора (или сразу после него), и во времена самого истового христианского императора после Константина (т.е. Феодосия I, 379–395 гг. н.э.). Камерон, правда, предполагает, что все еще банальнее и проще. Автор всего лишь столкнулся с недостатком источников для биографий поздних императоров и обратился к изобретательству [Cameron A. 2011: 778]. Есть другие сочинения конца IV в., возможно, написанные в это же время, которые хорошо объясняются в контексте прихода христианства: вымышленные биографии трех святых отшельников Св. Иеронима и вымышленная переписка между Павлом и Сенекой, которая «христианизирует» римского философа I в. н.э. [Syme 1979: 642].

Нет ничего удивительного в том, что в современной истории раннего христианства время от времени возникает идея или нарратив, где иногда очень явно заметно влияние религиозной принадлежности автора. Современные исследователи раннего христианства чувствуют потребность найти документальные «свидетельства» той или иной детали жизни Иисуса и других

¹ Гипотеза о наличии ссылки на африканское восстание при Валентиниане (364–375 гг. н.э.) исключает возможность, что текст был создан в правление Юлиана (361–363 гг. н.э.).

событий этого времени, и это одна из излюбленных тем. Приведу три примера разного характера. Во-первых, ошеломляющее открытие версии «Изречений Иисуса» (“Logia Iesou”), записанной египетским демотическим письмом, которую в случае подлинности пришлось бы датировать близко к жизни самого Иисуса. Вот уж действительно, слишком хорошо, чтобы быть правдой! А ключ крылся в имени высокоученого автора: «Бетсон Д. Силинг» (“Batson D. Sealing”), расшифровка которого, “bats on the ceiling” («летучие мыши на потолке»), еще более красноречива, чем имена вымышленных авторов «Истории Августов» [Discussions in Egyptology. 1991. No. 19]. Название «Изречения Иисуса» первоначально относилось к первому тексту папируса, который был опубликован в первом томе серии «Оксиринхские папирусы» в 1898 г. и сразу произвел что-то вроде сенсации [The Oxyrhynchus Papyri 1898]. Позднее стало известно, что на самом деле это была часть апокрифического Евангелия от Фомы, которое исключили из церковного канона в поздней античности. Тем не менее целая группа очень уважаемых ученых не сочла нужным задаться вопросом, насколько вероятно существование такой египетской версии, и это напоминает печально знаменитую историю о «Дневниках Гитлера», опубликованных немецким журналом «Штерн» в 1983 г. Когда я вижу такие фальсификации и подделки, я всегда вспоминаю мельком брошенное замечание самого выдающегося российского исследователя древнего мира Михаила Ивановича Ростовцева: «Если вы нашли нечто уникальное, вы ошиблись»¹.

Во-вторых, фрагмент коптского папируса, который сообщает, что Иисус «состоял в браке» или имел «жену». Это классический случай документа, который кажется подлинной рукописью и датируется, вероятно, IV в. н.э. (хотя и без уверенности). И поучительный пример того, как скрупулезная научная публикация (подготовленная Карен Л. Кинг), запланированная в престижном «Гарвардском теологическом журнале» (“Harvard Theological Review”), провоцирует тенденциозные или фанатические интерпретации, едва лишь достигает широкой публики, и способна вызвать не меньше страстей, чем подложная «Туринская плащаница». Так, даже если в этом фрагменте действительно есть фраза, которая может быть реконструирована и переведена как «Иисус сказал: “Моя жена...”», это, как подчеркивает Кинг, доказывает только, что так могли думать христиане во II в. или позднее, но не имеет ничего общего с воз-

¹ Насколько мне известно, это высказывание нигде не публиковалось, но я слышал, что оно было хорошо известно на факультете классических исследований в Йельском университете, где его узнали от Ч. Брэдфорда-Уэллса, который много лет был близким коллегой Ростовцева.

можными социальными или матримониальными обстоятельствами жизни Иисуса около 30 г. н.э. Как бы то ни было, назвать этот фрагмент «Евангелие жены Иисуса» — это, возможно, не самое удачное решение, поскольку такое название может стать вечным источником для измышлений, которые при нынешнем состоянии наших знаний не имеют никакого смысла¹.

В третьем и еще более красноречивом примере ученый пытался доказать, что давно известный и подлинный фрагмент Евангелия от Матфея, который большинство исследователей датируют IV в. н.э., на самом деле был создан гораздо ближе к времени жизни Иисуса, в I в. н.э. Автор выдвинул это предположение, которое стало для него чем-то вроде идеи фикс, на основании данных палеографии (печально известное минное поле, которое часто дает лишь иллюзию точности), но не смог убедить других экспертов². Даже если оставить в стороне сомнительные стилистические критерии почерка, любые аргументы в пользу отнесения каких-либо документальных свидетельств к этому времени неизбежно оказываются спорными в ситуации, когда нет никаких указаний, что хоть один из записанных евангельских рассказов был составлен до приблизительно 70 г. н.э. Если учесть, какова сила убеждений и интересов религиозных групп на этом академическом минном поле, понятно, что где-то на периферии, скорее всего, всегда будут дискуссии, даже если понятие периферии приходится определять настолько широко, чтобы исключить и совсем уж причудливую идею, будто иудаизм и христианство произошли от древнего культа грибов и плодородия³.

Ни один серьезный исследователь сейчас не считает рукописи Мертвого моря подделкой, но разногласия вокруг древних текстов часто касаются именно вопроса подлинности документов. Возьмем открытие свитка папируса длиной около двух метров, где с одной стороны — экзотическая смесь географических текстов, карт и набросков человеческих голов, ступней и рук, а с другой — целый зверинец из более 40 животных, реальных и вымышленных. Если, как думают многие ученые, свиток подлинный, то он получает огромную важность как фрагмент одной из редакций второй книги (из одиннадцати книг) утра-

¹ См.: <http://news.hds.harvard.edu/files/King_JesusSaidToThem_draft_0917.pdf>. Дата обращения: 2 февраля 2013 г.

² Этот фрагмент папируса принадлежит Модлин-колледжу в Оксфорде, а этот ученый — покойный Карстен Питер Тид, который под мощным напором критики упорно отстаивал свою версию датировки; см.: [Thiede, Ancona 1996].

³ См.: [Allegro 1970]. Аллегро занимался исследованиями, и некоторые его более ранние работы по рукописям Мертвого моря были восприняты достаточно серьезно и имели широкую аудиторию.

ченного географического труда Артемидора Эфесского (автор самого раннего географического описания всего известного на тот момент мира, около 100 г. до н.э.), иллюстрированного картами и созданного, видимо, в Александрии. Противоположная точка зрения гласит, что это подделка знаменитого антиквара конца XIX в. по имени Константин Симонидис. Это сложный спор, полный технических подробностей, который до сих пор (некоторые спорщики еще держатся) окончательно не разрешен. Но если карта настоящая, с чем многие согласны, то это единственный сохранившийся образец картографии греко-римского мира¹.

В современной науке иногда бывает легче определить мотивы и скрытые причины, хотя опасность спутать «историю» и «историческую беллетристику» все равно высока, даже если автор не претендует на статус профессионального историка². «Воспоминания Адриана» Маргерит Юрсенар — это один из наиболее двусмысленных случаев, потому что писательница претендует, как отметил Сайм, на «эрудицию и точность деталей», но при этом не осознает проблематичной природы своего главного источника, а именно — «Истории Августов», о которой шла речь выше [Yoursenar 1951]³. Конечно, вопросы взаимоотношений между историческим нарративом и исторической художественной литературой гораздо более сложны и парадоксальны, не в последнюю очередь потому, что роман — этот тот жанр, в котором писатель имеет полное право попытаться уловить особенности мышления и нюансы мотиваций персонажей с помощью воображения, что для историка представляет опасную почву. Мы знаем, что художественная литература — и фальсификация — может существенно повлиять на историческую интерпретацию и иметь страшные практические последствия, вплоть до гонений, смерти или даже геноцида. Перед нами спектр, где на одном конце — автор, создающий серьезную литературу высокого интеллектуального и художественного уровня (Умберто Эко «Имя Розы», 1980), где-то в центре — относительно безобидная «популярная» литература (Дэн Браун «Код да Винчи», 2003), а на другом конце — отвратительная фабрикация, сделанная с самыми злыми намерениями, как, например, печально известные «Протоколы сионских мудрецов», антисемитская фальшивка, впервые

¹ Папирус впервые был полностью опубликован в: [Il papirò 2008]. Наиболее ярким сторонником версии о подделке выступает Л. Канфора. Краткое обобщение дискуссий до последнего времени см. в обзоре: [Rathbone 2012].

² Например, Гор Видал «Юлиан» (1964).

³ Русскоязычное издание: [Юрсенар 1988] (прим. пер.). Автор — первая женщина, избранная во Французскую академию [Syute 1991: 164].

опубликованная в России в 1903 г.¹ Полностью объективный исторический нарратив — это, вероятно, химера, если только не называть так простые перечисления «фактов» без какой-либо интерпретации или умозаключений².

Эти дилеммы не имеют четких решений. Авторитарная цензура вводилась в разные времена в разных местах, и оптимист может считать ее в конечном счете бесплодной, пусть и отчасти эффективной в тех случаях, когда нельзя допустить господства ясности суждений и рациональной аргументации. Едва ли можно говорить об окончательном успехе китайской «культурной революции» 1960-х гг., а римский историк Тацит во времена Траяна (около 100 г. н.э.) получил возможность прославлять возвращение эпохи свободы, когда «каждый может думать, что хочет, и говорить, что думает»³. Но теперь мы признаем, что и в глазах историков, и в социальных и коллективных представлениях о прошлом исторический нарратив изменяется под воздействием сдвигов в культурной памяти, особенно в течение первого и второго поколений после изучаемых событий, по мере того как события стираются в памяти свидетелей и тех, кто получил информацию непосредственно от них⁴. Природа культурного восприятия — «артефакт» современной историографии, что иллюстрирует случай с влиянием античности на идею «Востока» (Orient), которое при этом не является поводом игнорировать или преуменьшать историческую реальность греческого и римского господства в Восточном Средиземноморье [Said 1995; Bowman 2002]. Корни «инаковости» Востока действительно следует искать во влиянии классического европейского образования, которое получали ранние ученые, в особенности в XIX в. Однако греко-римское влияние на эти части древнего мира — это не только вопрос восприятия, оно действительно имело место. Точно так же подход, который ориентируется на собственную ценность кельтской или германской материальной культуры, привел к отказу от термина «романизация» на Западе за его непригодностью, но, что примечательно, ничего не смог сделать с силой «латинизации», доминирования разговорного и в еще большей степени письменного языка в этих частях Римской империи [Mattingly 1997]⁵.

Свобода писать и говорить — это вечный вопрос, даже когда та или иная публикация кажется кому-то смертельно опасной

¹ Интересную дискуссию об этих проблемах см. в: [Cameron J. 2011].

² Р. Коллингвуд называет такое изложение «теократической историей» [Collingwood 1946].

³ “rara temporum felicitate ubi sentire quae velis et quae sentias dicere licet” (Hist. I. 1).

⁴ См. гл. 1 в: [Assmann 2011].

⁵ Некоторые ученые потом использовали термин «креолизация», но, на мой взгляд, это не помогло.

и ошибочной. Что же до взаимного раздражения и разногласий, вплоть до оскорблений и угрозы судебного разбирательства, то показателен случай «Черной Афины» Мартина Бернала, где затрагивается связь между античным миром и Африкой и звучат обвинения в «дилетантизме» и, хуже, в археологической и лингвистической некомпетентности [Bernal 1987–2006; Lefkowitz, Rogers 1996]. По меньшей мере прискорбно, что из-за непримиримых противостояний оказалась подорвана идея истинной прозрачной научной дискуссии. По крайней мере какое-то время эта дискуссия едва ли будет продолжаться с той же страстностью, хотя мы и можем быть уверены, что ключевые вопросы неизбежно будут подняты снова когда-нибудь в будущем, когда, быть может, выявление ошибок и предрассудков перестанет вызывать такую враждебность.

Библиография

- Юрсенар М. Воспоминания Адриана. М.: Радуга, 1988.
- Allegro J.M.* The Sacred Mushroom and the Cross. L.: Hodder & Stoughton, 1970.
- Assmann J.* Cultural Memory and Early Civilisation. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Bernal M.* Black Athena. Vols. 1–3. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1987–2006.
- Bowman A.K.* Papyri and Roman Imperial History // Journal of Roman Studies. 1976. Vol. 66. P. 153–173.
- Bowman A.K.* Recolonising Egypt // T.P. Wiseman (ed.). Classics in Progress: Essays on Ancient Greece and Rome. L.: The British Academy, 2002. P. 193–224.
- Cameron A.* The Last Pagans of Rome. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- Cameron J.* Fiction Imitating History or History Imitating Fiction? Umberto Eco's Il Cimitero di Praga // Otherness: Essays and Studies. 2011, August. No. 2.1. <http://www.otherness.dk/vol_2/>. Дата обращения: 2 февраля 2013 г.
- Collingwood R.G.* The Idea of History. Oxford: Oxford University Press, 1946.
- Il papiro di Artemidoro / Ed. by C. Gallazzi, B. Kramer, S. Settis. Milano: Led edizioni, 2008.
- Lefkowitz M., Rogers G.M.* (eds.). Black Athena Revisited. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 1996.
- Mattingly D.J.* (ed.). Dialogues in Roman Imperialism. Portsmouth, RI: Journal of Roman Archaeology, 1997. (Journal of Roman Archaeology. Suppl. 23).
- Rathbone D.W.* The Artemidorus Papyrus // The Classical Review. 2012. Vol. 62. P. 442–448.
- Said E.* Orientalism. L.: Penguin Books, 1995.

- Sumner G.V.* Rev. of A.J. Woodman, Velleius Paterculus: the Tiberian Narrative (2.94–131) (Cambridge 1977) // *Classical Philology*. 1979. Vol. 74. P. 64–68.
- Syme R.* Fiction and Archaeology in the Fourth Century // *Roman Papers II*. Oxford: Oxford University Press, 1979. P. 642–649.
- Syme R.* Fictional History Old and New: Hadrian // *Roman Papers. VI*. Oxford: Oxford University Press, 1991. P. 157–181.
- Syme R.* Mendacity in Velleius // *American Journal of Philology*. 1978. Vol. 99. P. 45–63.
- The Oxyrhynchus Papyri. L.: Egypt Exploration Society, 1898. Vol. 1.
- The Oxyrhynchus Papyri. L.: Egypt Exploration Society, 2009. Vol. 73.
- Thiede C.P., d'Ancona M.* The Jesus Papyrus. L.: Weidenfeld and Nicolson, 1996.
- Yourcenar M.* Mémoires d'Hadrien. P.: Éditions Plon, 1951.

Пер. с англ. Александры Касаткиной

ВИКТОР ВАСИЛЬЕВ

1

Быть может, этот приток в других областях менее заметен для широкой публики и для СМИ, но он также очень велик. Разница между ними объясняется спецификой разных отраслей псевдонауки, отличающихся прежде всего мотивировками.

Что касается перечисленных областей (к которым, конечно, нужно добавить экологию), то внимание к ним объясняется идеологической и политической значимостью соответствующих вопросов. Многие люди стараются выдумать себе благородную древнюю родословную или происхождение от какой-то знаменитости, точно так же очень хочется поверить в замечательное происхождение своего племени. А как гласит основное правило вывода в анекдотической логике, «если из А следует В и В приятно, то А верно». Кроме того, выстраивая политику отношений между народами (например, собираясь повернуться «к варягам спиной,

Виктор Анатольевич Васильев
Математический институт РАН /
Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
Москва
vavasiliev@hse.ru

лицом повернуться к обдорам»), часто апеллируют к общей истории или близкому происхождению, которые выдумывают специально под свои политические задачи, в качестве доказательств используют столь же фальшивые лингвистические построения. Это все довольно понятно.

Действительно пугающий вопрос — откуда у нас столько безграмотных идиотов, настолько неспособных критически воспринимать эти тексты, настолько не умеющих извлекать правильную картину мира из совокупности доступной информации?

В естественных и технических науках псевдонауки не меньше, просто там она служит другим целям и менее афишируется. Например, есть сословие тихих научных неудачников, одержимых ошибочной теорией, противоречащей опыту, или «решивших» задачу, неразрешимость которой давно доказана. Их деятельность редко вырывается на страницы газет и экраны телевизоров и помимо зря потраченного времени экспертов большого вреда не наносит. Гораздо серьезнее «изобретатели», которым удастся как-то договориться с начальством и «внедрить» свои антинаучные изобретения. Классические примеры — «гравипапа», торсионная афера, использование экстрасенсов для поиска преступников. Легко понять, что подобные дела делаются по возможности втихую, лучше всего — под грифом секретности.

2

В принципе так бывает, но очень редко. Очевидно, это вопрос общей разумности и адекватности. Например, замечательный математик И.М. Гельфанд уже в довольно зрелом возрасте занялся проблемами медицины и биологии и добился очень высокого авторитета: многие ведущие профессора-медики (а также, между прочим, лингвисты) считали за честь доложить на его семинаре. Но для этого он очень упорно разбирался в новой области и, будучи вообще чрезвычайно умным человеком, правильно находил себе консультантов. К сожалению, есть много «неравномерно умных» людей, обладающих яркими способностями и чутьем в одной науке и получающих в ней заслуженное признание, но туповатых в других сферах знания и неспособных трезво оценить ограниченность своих возможностей. Еще чаще это случается с посредственными специалистами, получившими незаслуженное признание и / или занявшими высокое административное положение и окруженными подхалимажем. Такие люди очень часто идут на поводу у псевдоученых, в том числе у заведомых жуликов (но иногда и самостоятельно начинают опровергать Эйнштейна и Грегоровиуса).

Конечно, почти всегда непрофессиональный текст оказывается псевдонаучным. Но все-таки редкие исключения возмож-

ны. Взаимодействие между разными специальностями обычно начинается с работы специалистов в одной из этих областей, не являющихся профессионалами в другой, но начавших осознавать возможную связь между ними. Строго говоря, их первый текст выглядит непрофессиональным с этой «другой» стороны, но если он мотивирован целью установления истины, если его авторы адекватно осознают ограниченность своих познаний в новой области и «передают эстафету» исследователям специалистам в этой области, то назвать его псевдонаучным было бы неправильно. То же можно сказать про работу экспериментатора, обнаружившего неожиданный эффект и правильно угадавшего (далекую от него) теоретическую область, в которой следует искать его объяснение.

3

Псевдонаучные тексты бывают очень разные, как разными бывают и мотивы их написания. Соответственно, и признаки псевдонаучности, сопутствующие этим текстам, могут сильно различаться. Я помню, приблизительно в 1970 г. на эту тему была дискуссия в «Литературной газете», и тогда среди ярких симптомов псевдонаучности были отмечены политическая демагогия и спекуляция на практической пользе.

Часто псевдонаучные тексты пишутся в наглом расчете на малограмотного читателя (и на то, что чуть более грамотный читатель плюнет и связываться не будет). Например, такими текстами славятся «Аргументы и факты». В этом случае достаточно просто хорошо знать и понимать школьный курс физики или биологии и владеть основными приемами получения правильного вывода на основе доступной информации.

Но бывает и так, что разобраться трудно. Я должен признаться, что так и не понимаю, кто и насколько неправ в болезненной полемике о глобальном потеплении. Конечно, и с той и с другой стороны есть заведомо псевдонаучные демагогические тексты, а также подтасовки. Но бывают и выглядящие прилично, но прямо противоречащие друг другу тексты, из которых по крайней мере один, по-видимому, лжив — и я не могу понять, который. Среди моих уважаемых и безусловно честных знакомых есть люди, верящие как в одно, так и в другое. Наверное, можно было бы разобраться в этом, потратив недельку на копание в сопутствующей информации, но очень жалко времени.

4

Эти разыскания тоже бывают разными по сути.

Например, в служебные обязанности каждого сотрудника Математического института РАН входит поиск ошибок в многочисленных «решениях» заведомо нерешаемых задач типа трисекции угла и квадратуры круга. Эти решения часто спускаются из высоких инстанций: многие психи обладают выда-

ющими способностями к внушению и ухитряются убедить начальство, что их революционные изыскания крайне важны для науки, имеют выдающееся идеологическое значение и т.п. Множество таких сочинений присылается в ведущие математические журналы. К счастью, после работ Перельмана и Уайлса уменьшился поток «доказательств» теоремы Ферма и гипотезы Пуанкаре, но кое-кто все же присылает «упрощения» и «обобщения» этих доказательств. Все тексты этого сорта, поступающие от непрофессионалов, совершенно безграмотны и основаны на страстном желании прославиться без адекватных усилий. К этим сочинениям я отношусь скорее с жалостью. К счастью, на содержательном уровне в моей области математики мне пока не встречались псевдонаучные работы, с которыми приходилось бы действительно «бороться»: ошибки в них находятся достаточно легко и не вызывают сомнений.

Имеется субкультура людей, вообще не понимающих, что такое математическое (или вообще логически строгое) рассуждение и что такое доказательство. Из этой среды время от времени выплывают тексты, претендующие на решение всех мировых проблем (не только математики, но и естествознания) методом произвольной замены точных терминов и формулировок каким-то словесным мусором, который затем на «философском» уровне строгости перетасовывается и превращается во что только ни пожелаете. Спорить всерьез с этими текстами невозможно, как невозможно указать логическую ошибку в тексте «эне-бене-раба, квинтер-финтер-жаба». Яркий пример — книга С.Е. Шилова «Риторическая теория числа», изданная издательством «Наука» (!) под эгидой Комиссии по изучению подвижного баланса сущего (!) научного совета «История мировой культуры» Российской академии наук. Наличие этой субкультуры в нашем гуманитарном сообществе меня очень пугает, потому что я не могу даже приблизительно смоделировать их способ мышления и не знаю, чего от них ждать. Борьбаться с ними, видимо, поздно: это надо было делать в начальной школе.

НИКОЛАЙ ВАХТИН

1

Я выскажу несколько соображений, которые касаются прежде всего (наивной) лингвистики (хотя, возможно, не только ее).

В лингвистике имеет место один забавный парадокс. С одной стороны, существуют области лингвистики, в которых единственным «критерием истины» является мнение «наивного носителя языка». На этом строится, например, дескриптивная лингвистика, прежде всего полевая лингвистика, т.е. описание неописанных языков, в основе которого лежит методика лингвистического эксперимента. Можно ли так сказать? Что будет значить словоформа, если добавить к ней вот такой суффикс? Какая конструкция правильная? Как перевести на язык L эту русскую фразу? Эти и подобные вопросы мы задаем «информантам», т.е. «наивным носителям», и их ответы для нас — истина в (почти) последней инстанции (почти — потому что для полной надежности хорошо бы еще получить ту же самую конструкцию в независимом тексте... но это уже как получится).

С другой стороны, есть области лингвистики, в которых мнение «наивного носителя языка» не только не имеет для науки никакой ценности, не только не является истинной, но, напротив, может оказаться верным только случайно и с очень малой вероятностью. Таковы этимология, история языка, возможно, семантика.

Иными словами, мнение одного и того же человека («наивного носителя») о правильности той или иной словоформы мы признаем за истину, а о правильной ее этимологии — нет, мнение о правильности синтаксической конструкции признаем, а мнение о родстве похожих конструкций в разных языках — нет.

Почему?

Ответом на этот вопрос является понятие «осознанности». Мы автоматически дове-

ряем мнению «наивного носителя» в тех и только в тех случаях, когда оно базируется на его неотрефлексированной интуиции, когда его знание языка *бессознательно*. Мы доверяем ему как *источнику* данных, но не как их *интерпретатору*. Как только мнения «наивного носителя» становятся осознанными, как только он начинает *думать* о фактах или явлениях языка, он немедленно теряет доверие лингвистов. Все полевые методики построены именно на этом принципе: заставить информанта говорить *спонтанно*, не задумываясь о том, как он говорит, максимально *отвлечь* его от процесса говорения, потому что едва он задумается о своей речи, едва *осознает* ее — он перестает быть надежным информантом.

Язык в этом смысле странное, возможно, уникальное явление. Лингвисты изучают язык, строят модели, описывающие или объясняющие структуру и функционирование его подсистем, ломают головы над устройством этих подсистем, и при этом сами они — как носители языка — прекрасно умеют этим языком пользоваться. Лингвисты пытаются, следовательно, объективировать собственную интуицию, собственную бессознательную способность пользоваться языком. (В этом, если вспомнить старую шутку, отличие лингвистов от литературоведов: лингвисты прекрасно умеют пользоваться объектом своего исследования, но не знают, как он устроен; литературоведы, наоборот, отлично знают, «как делать стихи», способны до деталей показать, как устроено хорошее стихотворение, но написать хорошее стихотворение в массе своей не умеют.)

Этот процесс — объективирование собственной интуиции через построение моделей языка (неважно, синхронных или диахронических) — и составляет профессиональное умение лингвистов. Именно ему приходится учиться, иногда долго. Именно в этом пункте — а не в «знании языка» — состоит отличие профессионального лингвиста от непрофессионального.

И именно это обстоятельство, видимо, более всего раздражает непрофессионалов. Ведь мы же знаем язык! Почему же наше знание, такое ясное и полное, наши мнения о языке, такие яркие и интересные, не принимаются профессиональным лингвистическим сообществом? Да чем, собственно говоря, *они* от *нас* отличаются? Такие же люди, такие же природные носители того же родного языка. Почему же их мнение — *наука*, а наше — *псевдонаука*?

Наверное, это касается не только лингвистики, хотя тут мне судить сложнее. Кажется, что любая наука, исследующая человека, несет в себе описанный парадокс. Возьмем историю: профессиональные историки накапливают факты и строят модели человеческой истории (или чаще отдельных ее фрагментов),

обычные же люди просто живут, и история для них — это то, что происходит с ними или произошло с их предками. И пока какой-нибудь мистер Смит пишет своей сестре подробные письма с англо-бурского фронта, описывая военные события, участием которых он является, — это для историка бесценный источник. Но едва только мистер Смит, демобилизовавшись, публикует историю англо-бурской войны, как он ее понимает, разве его сочинение не переходит немедленно в разряд непрофессиональной, несерьезной, а то и псевдонауки? Пока мистер Смит — носитель сведений, *не осознающий их ценности*, он источник, информант, его мнение важно и нужно. Едва только он начинает задумываться — выясняется, что у него нет главного, что отличает профессионала от любителя: образования, позволяющего объективировать свое интуитивное знание и строить на его основе грамотные модели социальных процессов.

А что происходит в такой области, как устная история? Собирая интервью, историк всецело доверяет своим информантам (с поправкой, естественно, на «критику источника»): сведения, сообщаемые ему информантами, составляют основу будущей работы. Это доверие длится до тех пор, пока информант «просто рассказывает», но едва только он начинает пытаться обобщать, интерпретировать, смотреть на события со стороны — он перестает быть надежным информантом... и, возможно, становится соавтором.

Если продолжить это рассуждение, распространив его на полевую этнографию (или социальную антропологию), то окажется, что тут ситуация совсем плохая. Несколько утрируя, можно сказать: чтобы быть для этнографа надежным, качественным информантом, носитель локальной традиции должен по возможности вообще не понимать, о чем и зачем его спрашивают. Лучше всего, конечно, ни о чем его не спрашивать, а просто в течение продолжительного времени наблюдать за его поведением, за ситуациями, в которые он попадает, за способами, которыми он разрешает эти ситуации. Однако чем дальше, тем меньше у нас таких возможностей: слишком высок уровень образования в современном мире, слишком многие «носители локальной традиции» знают сегодня, кто такие этнографы, чем они занимаются и что их может интересовать. Слишком многие читали в газетах или книгах, смотрели по телевизору или слушали по радио о «традиционной культуре», и у многих есть твердое мнение, почему их собственное общество, их собственное поведение устроено так, а не иначе. *Чего тут думать — у нас язык лучше сохраняется, потому что мы пассионарный народ*, — сказал мне однажды один молодой человек, которого я расспрашивал о сравнительной сохранности чукотского языка в поселке и в тундре.

И не только в возможностях тут дело: вряд ли в современном мире у нас есть такое право — наблюдать за поведением других людей, не объясняя им, зачем мы это делаем, задавать им вопросы в расчете на наивный, «неосознанный» ответ. По крайней мере многочисленные «этические кодексы антрополога» напрямую такое поведение запрещают. Это, впрочем, уводит нас от заявленной темы довольно далеко, поэтому на этом я, пожалуй, остановлюсь.

3

Серьезная наука, прежде всего, дело коллективное и небystрое. Серьезная научная статья обычно ставит и решает не слишком объемную проблему, и делает это (в идеале) с опорой на все то, что в этой области успели написать коллеги. Когда я вижу текст, который не учитывает «литературу вопроса» (или с первых строк отмечает эту литературу как «несущественную») и который ставит слишком уж крупную задачу (например, пытается сходу ответить на вопрос о родстве далеких языковых семей или о происхождении славян), я понимаю, что передо мной, скорее всего, псевдонаучный текст.

Например, если статья называется «На каком языке говорили на Британских островах до VIII века, или Последний удар по “древнеанглийской литературе”» — это, скорее всего, псевдонаука.

Второе — это общая интонация текста, одновременно неуважительная и хвастливая. Все дураки, один автор умный, зато очень умный, практически гений. Автору стоило только взглянуть на проблему — и он уже знает, как ее решать. И чего тут мудрить, когда все понятно?! — нужно только применить изобретенный автором метод (как правило, универсальный, пригодный для отпираания любых замков). Все писавшие на эту тему до сих пор просто не имели в руках этого гениального метода, поэтому ничего и не понимали, но стоит этот метод применить, как все становится очень просто... И так далее.

Вот, к примеру, если текст начинается — как в старом анекдоте, «ни здарсьте, ни спасибо», — прямо вот так:

Проблема возникновения кириллицы в наши дни не только не решена, но и, как это ни странно, загнана в угол, из которого ей трудно будет выбраться, —

это, скорее всего, псевдонаука, потому что автор ставит очень широкую проблему, и, кроме того, дальше он не приводит никаких предшествующих ему, пусть бы и неверных, вариантов решения, а сразу начинает излагать свою концепцию.

Эти многочисленные «гениальные методы исследования» построены чаще всего на семиотических ассоциациях. Вот, например:

Зачем-то мозгу потребовались два полушария, а не одно. И в семье два начала — отец и мать. И наследственная информация кодируется в двойной спирали. Вещество солнца — плазма — также состоит из двух элементов — водорода и гелия. Видимо, бинарный код — общий закон мироздания. Русский и арабский составляют смысловую плазму, присутствующую в каждом языке.

При чем тут семья, почему плазма, зачем спираль ДНК? И почему именно русский и арабский? — спросит растерявшийся читатель, но поздно: автор уже унесся дальше, и остановить его не представляется возможным.

Третье — полное неприятие какой бы то ни было критики или даже простого сомнения. Это очевидно, примеры здесь излишни.

Четвертое. Как-то так получается, что псевдонаучная статья всегда имеет то, что на американском дипломатическом языке называется *hidden agenda*, т.е. второй, скрытый, смысл и вторую, скрытую, цель. Автор вроде бы пишет про лингвистику, историю или этнографию, но одновременно обязательно возникает приятный автору идеологический результат. Либо оказывается, что народ, к которому принадлежит автор, самый древний, либо — что его родной язык самый богатый и выразительный, либо — что общественный строй его страны самый прогрессивный... Этот идеологический результат может быть совершенно любой, но он обязательно есть, он обязательно автору приятен, и он неизбежно следует из сделанных автором «научных выводов». Просто научные статьи в отличие от псевдонаучных таких «вторых идеологических смыслов», как правило, не несут, а если несут, то авторы специально стараются подчеркнуть их случайность, как это блестяще сделал А.А. Зализняк в своей речи по поводу вручения ему Премии Солженицына за книгу о «Слове о полку Игореве». Не могу удержаться от длинной цитаты из этой речи:

Мне иногда говорят про нее [книгу. — Н.В.], что это патриотическое сочинение. В устах одних это похвала, в устах других — насмешка. И те и другие называют меня сторонником, защитником подлинности «Слова о полку Игореве». Я это решительно отрицаю! <...> Мой опыт привел меня к убеждению, что если книга по такому горячему вопросу, как происхождение «Слова о полку Игореве», пишется из патриотических побуждений, то ее выводы на настоящих весах уже по одной этой причине весят меньше, чем хотелось бы. Ведь у нас не математика. Все аргументы не абсолютны. Так что если у исследователя имеется сильный глубинный стимул тянуть в определенную сторону, то специфика дела, увы, легко эту тягу реализовывает. А именно, позволяет находить все новые и новые аргументы в нужную пользу, незаметно

для себя самого раздуть значимости этих аргументов и минимизировать значимость аргументов в противоположную сторону. В деле о «Слове о полку Игореве», к сожалению, львиная доля аргументации имеющейся пронизана именно такими стремлениями. Тем, у кого на знамени — патриотизм, нужно, чтобы произведение было подлинным, тем, кто убежден безусловно во всегдашней российской отсталости, нужно, чтобы «Слово о полку Игореве» было поддельным. <...> У меня нет чувства, что я был бы как-то особенно доволен, что «Слово о полку Игореве» написано в XII веке, или огорчен оттого, что в XVIII. Если я и был чем-то недоволен и огорчен, то совсем другим — ощущением слабости и второсортности нашей лингвистической науки, если она за столько времени не может поставить обоснованный диагноз лежащему перед нами тексту¹.

На самом деле следовало бы, вместо пространных рассуждений о псевдонауке, просто перепечатать здесь эту речь целиком (в печатном виде она, кстати говоря, называется «Истина существует») — это, наверное, самый сильный манифест серьезной науки, какие мне приходилось читать. Ведь определить, что такое псевдонаука, можно и с другого конца — дать определение серьезной науке, а остальное окажется «псевдо».

Ну и, наконец, пятое и последнее: псевдонаучный текст выдает неизбывная любовь его автора к Прописным Буквам! И Восклицательным Знакам!

4

По мере сил стараюсь не обращать внимания.

Библиография

Зализняк А. Из заметок о любительской лингвистике. М.: Русский Миръ; Московские учебники, 2010.

ИВАН ГРИНЬКО

1

Не согласен с самой постановкой вопроса. Анализ социальных СМИ, посвященных проблемам лженауки, показывает, что количество изысканий по физике, биологии и медицине никак не меньше, если не больше. Иначе откуда берутся такие «гениальные труды», как «Теория всемирного

Иван Александрович Гринько
Российский институт
культурологии /
НП «Проект Этнология»,
Москва
wagrishe@gmail.com

¹ См.: <<http://www.modestclub.ru/nucleus/index.php?itemid=99>>; печатную версию см. в: [Зализняк 2010].

вдавливания», «Теория кристаллического вакуума», «Теория электрино», «Снижение радиационного фона в помещениях во время проведения в них духовных практик».

Характерно, что комиссию по борьбе с лженаукой до последнего времени возглавлял не гуманитарий, а физик Эдуард Павлович Кругляков, недавно покинувший нас. Стоит отметить и тот факт, что большинство лженаучных текстов отнюдь не является узкоспециализированными, а наоборот, увлекают данные из всех областей от палеоантропологии до лингвистики, то ли из желания придать больший вес своим «трудам», то ли в силу низкой эрудиции и нежелания углубляться в материал.

Имитация данного «всплеска» скорее обусловлена другими факторами. Первый — профессиональный: увеличение лженаучных трудов по истории и лингвистике более заметно самим гуманитариям — а кулики свое болото не только хвалят, но и защищают.

Фактор второй — «рыночный»: как однажды оговорила по Фрейду моя знакомая, «пусто место свято не бывает». Острейший дефицит научно-популярной литературы по гуманитарным специальностям (особенно это касается этнологии и археологии) при резко возросшем на нее спросе привел к тому, что околonaучные фантазии смогли занять пустующую нишу на рынке, а соответственно, массово появиться на прилавках книжных магазинов, в теле-¹ и радиоэфире².

Третий, и очень значимый, как показывает мониторинг форумов, посвященных этой проблеме, фактор — идеологический. Отношение к гуманитарным дисциплинам у большинства населения крайне настроенное. В итоге синдром «власти все скрывают», помноженный на стоическое отращивание к марксизму-ленинизму и потребительское отношение к жизни, дает вот такие образчики мысли:

Пора выбросить на помойку все многомудрые учебники истории как нелепо тенденциозные. Всякий деспот начинал правление с того, что переписывал историю под себя. У каждого узурпатора был штат придворных лакеев, именовавших себя историками, готовых нежно целовать императорский зад и выдавать эти поцелуи за исторические труды. Вы — историки. Вы и доказывайте нам — дилетантам, что два плюс два четыре и пятью пять двадцать пять. А нам, дилетантам, предоставьте право сомневаться

¹ Наиболее показательны в этом отношении «Тайны мира с Анной Чапман» на канале Рен-ТВ.

² «Новая хронология». Времена Петра I. <<http://echo.msk.ru/programs/beseda/941957-echo/>>.

*ся в вашей правоте и требовать от вас доказательств ваших научных теорий*¹.

Четвертый фактор — социальный. Тотальная депрофессионализация во всех областях и резкое падение престижа науки и образования стерли в массовом сознании грань между ученым и его имитацией. Это, кстати, очень хорошо заметно по работам многих «фантастов» — они старательно подделываются под ученый стиль, имитируя сноски и давая обширнейшие списки литературы.

Конечно, не обошлось и без пятого фактора — государственного. Достаточно вспомнить одно название, к счастью, уже почившей в бозе комиссии «при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России», которое позволяло заключить, что попытки фальсифицировать историю ради блага государства преследоваться не будут.

Характерно, что большой специалист в истории, а по совместительству министр культуры Владимир Мединский в своей книге следующим образом отзывается о работе гуманитариев-профессионалов:

Профессиональные историки тоже выступают не столько в роли ученых, сколько в роли пиарщиков: и в летописях, и в суждениях историков содержатся не столько факты, сколько версии, мнения, комментарии... То есть пиар. На первый взгляд даже обидно — у других наций с выходом на историческую сцену все более-менее ясно, а у нас до сих пор все окутано густыми клубами враждебного PR [Мединский 2010: 28].

При этом господин министр отнюдь не стесняется сниматься на фото с такими «большими учеными», как М.Н. Задорнов или В.А. Чудинов.

В итоге у рядового гражданина начинает формироваться следующая точка зрения:

*А вот, кстати, «Велесова книга» хоть может быть и фальшив-ка, но, на мой взгляд, ее надо читать, потому что она формирует патриотичное отношение к Родине, вот так вот*².

Искажение понятия «норма» во всех областях жизни не могло не затронуть науку. Если парламент на полном серьезе рассматривает вопросы «можно ли пить кефир водителям» и «разрешить ли детям смотреть “Ну, погоди”», то изыскания по пово-

¹ Форум «Проекта Этнология» в сети «ВКонтакте»: <http://vk.com/topic-258245_635932>.

² Форум «Проекта Этнология» в сети «ВКонтакте»: <http://vk.com/topic-258245_635932>.

ду приручения древними руссами мамонтов уже не выглядят безумием.

Совокупность этих сил и привела не столько к росту, сколько к легитимации лженауки и выведению ее в публичное пространство. Как это ни прискорбно, она перестала быть уделом одиночек-фанатиков, а становится государственной политикой.

При этом нельзя отрицать и локальные тренды, «удачно» совпадающие по времени: так, интерес лжеученых к этногенетике был предопределен «естественнонаучностью» данной дисциплины, недостаточной методической разработкой темы и очередным всплеском биологического национализма в Российской Федерации. В итоге рассказы про «арийский гаплогрупп» R1a1 «пошли в народ».

2

В данном случае формулировка вопроса подразумевает, что исследователь обязательно скатывается в псевдонауку, если переступает границы чужой дисциплины, хотя общий тренд взаимопроникновения разных научных специальностей говорит об обратном.

Характерно, что заявленных в вопросе примеров, относящихся к псевдонауке, практически нет. Кейс с А.Т. Фоменко так и остался уникальным. Специалисты в псевдолингвистике и истории В.А. Чудинов и В.Н. Демин имели докторские степени по философии, О.А. Платонов, вспахивающий историческую ниву, — экономист, а большинство остальных борцов за «настоящую науку» максимум получило диплом о высшем образовании. Поэтому относить научные трансферы к основным источникам псевдонауки было бы, на мой взгляд, не совсем верно.

При этом стоит заметить, что есть прецеденты, когда легко и непринужденно профессионал скатывался в лженауку, и ему для этого даже не надо было «переходить границу». Достаточно вспомнить работы Л.Н. Гумилева о пассионарности, Н.Р. Гусевой об индославах, А.И. Вдовина о процентах евреев в руководстве СССР. Эта профессиональная деформация гораздо опаснее, поскольку в крайне конформном научном сообществе ошибки и прегрешения коллег оцениваются не так строго, как прегрешения «варягов» из других специальностей. Плюс — былой научный и должностной авторитет позволяют протаскивать псевдонаучные измышления под маркой серьезных институций, что автоматически легитимизирует их.

При этом разница между непрофессиональным и лженаучным текстом, безусловно, есть, и она принципиальна, хотя, как правильно замечают некоторые коллеги, читать такой текст иногда еще неприятнее. Однако здесь можно провести парал-

лель с правилами дорожного движения. Начинающий ученый подобен неопытному водителю на дороге — он медленно и плохо ездит, может заехать за стоп-линию, не увидит знака и даже воткнуться вопереди стоящую машину. Однако он никогда не будет ездить задом по встречной полосе и парковаться посреди улицы.

Характерно, что ни один из апологетов лженауки даже не пытается вникнуть в профессиональный инструментарий или описать свою методологию — им не нужны эти правила.

3

Очень часто для этого достаточно одного названия: «Велес — Бог руссов. Незвестная история русского народа», «Геракл — праотец славян», «Сибирская прародина. В поисках Гипербореи» — или такой фамилии автора, как Задорнов.

Поиск универсальных критериев лженаучности ведется уже давно. Очень удачную схему предложил Петр Образцов [Образцов 2004]:

1. Нет или мало цитат из работ предшественников.
2. Используется терминология, существующая только в рамках этой теории.
3. Теория претендует на глобальные изменения.
4. Автор не является специалистом в данной области.
5. Проверка теории на современной экспериментальной базе невозможна.

Не менее хорош «Краткий определитель научного шарлатанства» Аркадия Голода [Голод 2009], дающий очень полезные советы неспециалисту:

Если в публикации встречаются слова: аура, биополе, чакра, биоэнергетика, панацея, энергоинформационный, резонансно-волновой, психическая энергия, мыслеформа, телегония, волновая генетика, волновой геном, сверхчувственный, астральный — то можете быть уверены, что имеете дело с шарлатанской писаниной.

Или:

Большой интерес для анализа представляют научные регалии автора. Чем их больше и чем тщательнее они перечислены, тем осторожнее надо относиться к тексту. У настоящих ученых тщеславие считается дурным тоном. Скромное «к.м.н. Абэвэгэзев» вызывает значительно больше доверия, нежели «доктор проблем мироздания, академик XYZ академии, почетный член того-то и сего-то Фантазм Ахинеевич Чепуханов-Грандиозов».

4

Однако, если сконцентрировать эти критерии, то их можно уместить в одну фразу: достижение ненаучных целей ненаучными методами. Если автор ставит себе задачу «открыть глаза русскому народу», опираясь при этом на «Велесову книгу» и «другие источники», то далее чтение переходит в другую плоскость.

К сожалению, лженаука в отличие от монстров из детства не исчезнет, если спрячешься под одеяло. Игнорирование ее любым представителем науки — прямое предательство корпоративных интересов. Именно благодаря подобному игнорированию откровенные лженаучные изыскания уже публикуются под грифом РАН [Клесов, Тюняев 2010].

Нельзя игнорировать ее и по другим причинам. Иногда фантазии псевдоисследователей указывают на те сферы, которые еще недостаточно проработаны исследователями, и, соответственно, они могут дать определенный импульс к разработке той или иной темы. Впрочем, очевидная деградация идет и в лженауке — подобных случаев все меньше.

Одновременно с этим лженаучные труды дают богатейший материал для историографических, этнологических, социологических и других исследований, поскольку демонстрируют очень характерные срезы общественного сознания и состояния.

Нельзя не отметить, что в отличие от научного сообщества имитаторы науки очень тонко чувствуют рынок и в какой-то мере являются индикаторами роста спроса на ту или иную тематику. Это серьезно может облегчить задачу авторам научно-популярной литературы.

При этом никто не отменял и развлекательный момент — в конце концов еще русский классик говорил: «Спорь даже с глупцом: ни славы, ни выгоды ты не добудешь, но отчего иногда не позабавиться». Чтение «опусов» становится профессиональным «эдьюкейтментом» и, кстати, вполне может использоваться на семинарских занятиях в вузах для проверки профессиональных навыков студентов.

Однако, как бы ни были забавны для профессионалов многочисленные «труды» «петриков» от гуманитарных наук, в заключение хочется процитировать Эдуарда Круглякова:

Лженаука сегодня представляет собой агрессивную хорошо организованную силу. Если ей не дать отпор, то в союзе с коррумпированным чиновничеством она может натворить немало бед.

Библиография

- Голод А.* Краткий определитель научного шарлатанства // Наука и жизнь. 2009. № 3. С. 50–51.
- Клесов А.А., Тюняев А.А.* Происхождение человека по данным археологии, антропологии и ДНК-генеалогии. М.; Бостон: Белые альвы, 2010.
- Мединский В.* Особенности национального пиара. Правдивая история Руси от Рюрика до Петра. М.: Олма Медиа Групп, 2010.
- Образцов П.А.* АнтиМулдашев. М.: Яуза; Эксмо, 2004.

КАТЕРИНА ГУБА**Обреченная на успех псевдонаука,
или О популярном знании в социологии**

Для многих обитателей академического мира само сочетание «социологическая псевдонаука» покажется оксюмороном¹. Пусть социология и не оставляет своих привязаний на право называться «нормальной» наукой, но ей несомненно следует в этом отказать. Сами социологи могут в одних разговорах с некоторым вызовом разделять это мнение, что не помешает им без особого труда в другой ситуации уверенно определить, кто из присутствующих является фриком, увлеченным идеей гармоничной социологии, а кто всего лишь находится под обаянием манифестов Бруно Латура и желает исследовать, как вещи дают сдачи. Мы можем не сомневаться, что первого собеседника постараются запомнить в лицо как одного из представителей городских сумасшедших, дабы избежать столкновения с ним в последующих академических событиях. Второго собеседника, скорее всего, ждет более светлое будущее в виде приглашения на семинар, посвященный обсуждению социологической теории.

Катерина Сергеевна Губа
Томский государственный
университет
kguba@eu.spb.ru

¹ В этом тексте в основном речь идет об американской социологии, которая попала в поле зрения автора в рамках проекта сравнительного исследования академических статусных систем (поддержка НИУ ВШЭ). Я не могу обойтись без благодарности фонду «Открытое общество» (Open Society Foundation), поддержка которого позволяет автору продолжать читать книги и писать тексты об институциональной социологии науки. Наконец, моя личная благодарность адресована Кириллу Титаеву за его замечательные примеры из многолетней коллекции фрик-социологии.

Социология действительно является слабой версией кумулятивной «жесткой» науки. Она мало пригодна для производства фактов или любых других устойчивых утверждений о состоянии дел в какой-либо сфере общества. Однако это не мешает самим социологам разделять мнение о том, что можно считать нормальной работой, а чему следует в этом отказать. Определяя в качестве нормальных некоторые статьи радикальной феминистской теории или STS-исследований, социолог иногда остается с привкусом чего-то странного, тем не менее он будет уверен, что и то и другое находится по ту сторону евразийской социологии с ее квадрупольным миром. Образованный дилетант не обладает такой способностью, что составляет социологическую псевдонауку искать именно его расположения, ведь у нее остается не так много иных возможностей обрести внимание кого-либо еще¹. Дальнейшие рассуждения связаны с вопросом, почему «нормальная» социология не способна защитить образованного дилетанта от натиска псевдонаучных измышлений. Главный аргумент заключается в том, что социология малоприспособлена для работы в режиме популярного знания, с которым имеет дело публика за пределами академии. Мы остановимся только на двух обстоятельствах, первое из которых связано с утверждением, что социология не производит учебников, которые могли бы служить отсылкой к верховной реальности в спорах с псевдоучеными. Второе представляется нам более серьезным, так как говорит о том, что социологические достижения чаще всего существуют как достижения только в границах собственной дисциплины.

Людвиг Флек ввел различие журнальной и учебниковой науки в своей книге «Возникновение и развитие научного факта». Это различие было вновь изобретено в более поздних социологических работах, которые занимались сравнением «жестких» и «мягких» наук в отношении их «ядра» и «фронта». Флек начинает с выделения двух кругов в любой конкретной области знания. Эзотерический круг включает в себя два типа ученых: первые занимаются исследовательской работой в узкой области одной из наук, вторые обладают более общим знанием этой науки. В этом смысле каждый ученый одновременно является представителем двух типов: в своей исследовательской области он представляет собой ученого первого типа, а по отношению ко всей избранной им науке его можно определить как ученого

¹ Другая возможность заключается в поиске внимания других странных социологов, что способно создать своего рода анклав псевдосоциологии. См., например, перечень достойных теорий, начиная от консенсусологии и заканчивая космопланетарной социологией в версии Л. Семашко, автора тетрасоциологии и члена Глобального союза гармонии: <http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=246>.

второго типа. Экзотерический круг образован из более или менее образованных дилетантов, которые в отличие от ученых, носителей экспертного знания своей науки, имеют дело с популярным знанием.

Главным письменным жанром для ученого первого типа являются научные статьи, поэтому такую науку можно назвать журнальной наукой. Эта область знания отличается неопределенностью и отсутствием стабильности в корпусе текстов, где одни быстро инкорпорируются в дисциплинарное «ядро», а другие сходят со сцены со статусом малозначимого знания. Журнальная наука является крайне рискованным путеводителем, так как многие только недавно открытые пути могут уже в ближайшее время окончиться тупиком. Второй тип завязан на учебниках, которые, напротив, имеют дело с согласованным знанием, по поводу которого уже исчерпаны все споры и разногласия. Учебники задают «основные линии дальнейших исследований: в соответствии с ними определяется, какие понятия будут фигурировать как основные, какие методы будут признаны правильными, какие направления перспективными, каких исследователей следует отметить, а каких попросту забыть» [Флек 1999: 143]. Именно учебникам присущи основательность, определенность и обоснованность, которые не подразумевают оспаривания, так же как его не подразумевает окончательный вердикт судьи. Главный источник учебниковой науки — это, несомненно, журнальная наука, из которой производится отбор эзотерического знания и его кристаллизация в устойчивые факты.

Несмотря на то что учебники создаются деятелями эзотерического круга, именно на них опираются и дилетанты экзотерического круга, не имеющие профессионального отношения к науке. У них нет шансов разобраться в сложной коммуникации ученых первого типа, но они могут воспользоваться тем отбором, который был произведен учебниками. В этом смысле учебники являются первой проходной точкой на пути превращения эзотерического знания в экзотерическое, т.е. доступное широкому кругу общественности. Движение на этом пути — это движение к упрощению знания через отсечение всех мало существенных деталей и спорных мнений. В своей конечной точке, которая выражается иными, отличными от учебников жанрами, популярное знание «излагается в аподиктической манере, позволяющей просто принять или отбросить какие-либо точки зрения» [Флек 1999: 136]. Таким образом, учебники не только, как пишет Флек, являются ограничителями свободного мышления эзотерического круга ученых, но и выступают в роли источника популярного, т.е. однозначного, упрощенного и наглядного знания.

Учебниковую науку мы можем тогда рассматривать как один из защитных механизмов, который ограждает популярное знание от попыток расширить его за счет псевдонаучных идей. Самим ученым обычно не составляет труда определить степень вменяемости чужого текста в пределах собственного эзотерического круга, тогда как паранаука ведет основной фронт наступления на более или менее образованный экзотерический круг дилетантов. В этом достаточно амбициозном решении о захвате умов общественности есть своя рациональность, которая гарантирует больше шансов на успех, чем если бы псевдоученые брали штурмом научные журналы и издательства. До тех пор, пока учебники используются в качестве отсылки к верховной реальности в (около)научных спорах в виде прямого указания взять и прочитать любой приличный учебник, популярное знание достаточно хорошо защищено от таких псевдонаучных вторжений. Здесь важным является двойственный статус учебников: все они содержат истины, рожденные в журнальной науке, но при этом обладают основательностью устойчивых фактов.

«Мягкие» социальные и «жесткие» естественные дисциплины имеют больше сходства в журнальной науке, тогда как их учебники различаются в важном для этого повествования отношении. Социологические учебники гораздо менее стабильны в своем содержании: лишь сравнительно недавно им удалось приобрести устойчивую форму, которой только отчасти удается порождать суждения, являющиеся результатом согласия сообщества, а не источником споров и разногласий. В этом легко убедиться, если попробовать сравнить американские социологические учебники за разные десятилетия, оглавления которых лишь в последнее время приобрели относительно стабильную классификационную сетку. В той или иной вариации с конца 1980-х гг. они содержат корпус канонических имен (Маркс, Вебер, Дюркгейм), корпус «новой» классики (Бурдьё, Луман, Хабермас, Фуко, Коулмэн, Бодрийяр, Бергер и Лукман, Гарфинкель, Гоффман, Гидденс) и изменчивую периферию в виде дополнительного чтения [Соколов 2010: 132].

Движение учебников к этому виду происходило сначала через стабилизацию непредсказуемого дисциплинарного прошлого — к 1950-м гг. происходит рождение канона, только в 1960–1970-х определяются настоящее, часть которого осталась в дисциплине навсегда в виде корпуса «новой» классики. В этом смысле нас не должны удивлять такие цифры: в социологическом учебнике “Sociology Today” 1978 г. 75 % ссылок сделаны на сравнительно недавние книги и статьи — вышедшие в свет после 1959 г. [Cole 1983: 133]. Подобное «возрастное» распределение не может позволить себе учебниковая наука лучших

образцов вроде химии или физики, которые допускают в этот жанр устойчивые источники: только 6 % ссылок в учебниках по химии и 3 % ссылок в учебниках по физике были сделаны на работы, вышедшие в печать позднее 1959 г. Социология, как мы видим, гораздо более журнальная наука, малопригодная для производства учебников как жанра, а не как физических объектов. Ей понадобилось полвека, чтобы найти в своем прошлом и настоящем имена и идеи, которые можно попробовать выдать за учебниковую науку. В этом стремлении пришлось пойти на определенные жертвы, закрыв глаза на собственные уверения в том, что развитие знания никогда не происходит так, как его преподносят авторы учебников по химии или физике. Мы можем отказывать научному знанию в том, как оно преподносится на эзотерическом уровне учебниковой науки, но не можем иначе сами написать учебник. Правила жанра требуют забыть об «открытиях» социологии науки второй волны.

Итак, социальные науки в заимствовании основных форм работы «жестких» дисциплин попробовали усвоить и жанр учебниковой науки. Ирония заключалась в том, что это требовало достаточных размеров дисциплинарного «ядра» в виде устойчивого свода теорий, методов или фактов. Этот свод наименее проблематичного знания формировался достаточно медленно, поэтому социологическим учебникам приходилось заполнять страницы ссылками и пересказами большого количества эмпирических источников из сравнительно недавнего прошлого или даже настоящего. И только после бума «новой» классики учебники обрели более или менее последовательное изложение согласованной версии дисциплины, снабдив всех любопытствующих дилетантов не только значимыми именами и теоретическими брендами, но и примерами социологического воображения¹. Злые на язык социологи утверждают, что авторы учебников так привязаны к образу когерентной дисциплины, что скорее готовы придумать новые примеры, чем изменить последовательность всего изложения [Lynch, Bogen 1997].

И даже более того, как мы можем опираться на социологические учебники в роли надежного источника популярных знаний, если содержащиеся в нем истины в свою очередь опираются на сотни ссылок из совсем недавнего прошлого! В физике, гораздо более «старшей» науке, авторы учебников обходятся

¹ Словами Линча и Богена: «Год за годом учебники твердят снова и снова об одних и тех же фактах дисциплины, приписывая их поступательному развитию научного исследования, что в конечном счете призвано вытеснить устаревшие научные верования и доннаучные понятия. <...> Они обеспечивают последовательное расположение разных тем, организованных в одну связную нарративную линию, а также поставляют словарные определения ключевых социологических понятий» [Lynch, Bogen 1997: 484].

в десять раз меньшим количеством ссылок. Это означает, что только «жесткие» науки могут поставить себе в заслугу умение аккумулировать знание из журнальной науки в версии Флека в стабильное «ядро» в виде небольшого количества теорий, методов, экспериментов и фактов. Соответственно учебники этих наук будут очень похожими друг на друга и в композиции повествования, и в наборе источников. Тогда как в случае социологии опора на массу недавних книг и статей, из которых только немногие успели заслужить маркер значимого достижения, приводит учебники к очень разному наполнению разделов за пределами небольшого набора имен канона и «новой» классики.

Наука учебников напрямую связана с воспроизводством «ядра» дисциплинарного знания, которым в дальнейшем могут пользоваться не только практикующие ученые, но и любопытствующие образованные дилетанты. В этом смысле учебники, даже если они имеют дело с социальными науками, должны обеспечить последовательное упрощенное изложение дисциплинарного знания. И чем лучше они справляются с этим предназначением, тем больше шансов, что достижения науки в статусе стабильных утверждений останутся в головах образованного большинства. В переходе от экспертного знания — эзотерического круга — к популярному знанию — экзотерическому — учебники играют исключительно важную роль, ограждая последнее от взятия под контроль со стороны вненаучных захватчиков. Здесь мы хотим сказать, что учебники, из которых черпается популярное знание с его однозначностью, упрощенностью, наглядностью и образностью, в социологии работают не так, как они работают в «жестких» науках. Несмотря на то что только сравнительно недавно произошла стабилизация их содержания, остается слишком много места для разнообразия и вариативности в виде изобретения «новых» значимых текстов. В этом смысле они недостаточно хороши, чтобы служить своего рода верховной реальностью для образованных дилетантов, которые смогли бы отличить странные псевдонаучные идеи от того, что социологические учебники выдают за устойчивое дисциплинарное знание.

До этого момента мы оставляли за скобками то обстоятельство, что псевдонаучные изыскания окажутся сильнее там, где дисциплины испытывают затруднение в производстве узнаваемого в глазах широкой публики представления о своей деятельности. Если оно есть, то общественность старается следить за научными «новостями» (и читать учебники соответственно), тем самым на общем фоне псевдонаучные голоса звучат более явным диссонансом. Культурные источники показывают следующее: социология изображается как бесполезное занятие

бессмысленными и тривиальными делами, а сами социологи воплощают многие стереотипы ученого как человека не от мира сего¹. Наша дисциплина за столетие своего существования так мало добилась в создании узнаваемого образа, который бы у самих социологов не вызывал сильного отторжения, что даже удивительно, как факультеты все еще находят, чем завлечь студентов получить их диплом.

Социология потерпела поражение, несмотря на то что началась она с исследования сторон общества, которые вызывали большой интерес образованной публики. Роберт Парк писал о социологах как о «супер-репортерах», которые отличаются от настоящих большей аккуратностью и беспристрастностью в обращении с новостями. Газеты раньше, чем социологи, стали полагаться на читателей, которые находят свою жизнь скучной и мечтают о более волнующем опыте. Городская организация жизни вместе с изобретением телефона почти вытеснила газету-сплетню, предназначенную для тех читателей, которые считали самыми интересными новостями сообщения о помолвке и похоронах местных жителей. Городская газета нового типа рождается из перефокусировки, когда за интересом стоит желание узнать что-то далекое, а не близкое. Далекое в социальном смысле — это «настойчивый поиск в однообразной суете города живописной романтичности, полных драматизма описаний пороков и заметок очевидцев с мест преступления и неослабевающий интерес к жизни персонажей из более или менее мифического высшего общества» [Park 1923: 286]. Этот кругозор интереса обычного городского жителя совпал и с интересами первых чикагских социологов, пишущих свои диссертации о трущобах и высшем свете, о карьере малолетнего преступника, молодежных бандах, бродягах или платных девушках-танцовщицах. «Журналистика, только надежнее», — заключил Парк, имея в виду, что и социология, и газетчики культивируют интерес обычного человека, желающего выбраться из скучной рутины собственной жизни, ко всему, что гарантирует ему «побег от реальности». В итоге социологию такого рода подвело то, что ей не удалось оградить от конкурентов собственную зону юрисдикции в виде всего того, что осталось вне больших зон влияния истории, антропологии, экономики и политической науки: семья, преступность, иммиграция, этничность — длинный список так называемых «социальных проблем» [Abbott 2001; Becker, Rau 2001].

¹ Даже в этом малопривлекательном образе социология намного реже других социальных дисциплин появляется в голливудских фильмах [Conklin 2009] или художественной литературе [Bjorklund 2001].

Академическая жизнь ставит экономические шансы в зависимости от того, в какой мере вы властвуете над умами других обитателей дисциплины, а не широких кругов общественности. Некоторые самые яркие «открытия» нашей дисциплины стали открытиями в результате тех жертв, на которые социологии пришлось пойти ради обретения научной респектабельности. Наука — это искусство убеждать, пишут Латур и Уолгар в «Лабораторной жизни». Это утверждение только на первый взгляд оставляет привкус потери основательности в таком серьезном предприятии, как научная работа. В действительности его скорее нужно понимать в том смысле, что наука смогла разработать коммуникацию как обмен аргументами, у каждого из которых есть шансы на победу: «Научные модусы коммуникации развивались как серии решений проблем убеждения, которые формировались внутри возникающих сообществ и были укоренены в эмпирических, социальных и риторических практиках» [Bazerman 1988: 258]. Социология так же, как и любая другая социальная наука, должна была освоить способ убеждения, который позволял бы защищать свою позицию и убеждать противников, что и делает науку предприятием, в котором имеет смысл участвовать.

Задача по выстраиванию убедительного обмена аргументами задействует разные способы ее решения. Один из них связан с работой внутри той формы научной коммуникации, которая уже показала свою эффективность. Форма экспериментальной статьи функционально была связана с запросами «жестких» наук. Попытка социологии освоить ее предполагала закрепление риторики методологического совершенствования, в основании которой лежала идея о том, что нужно возвращаться к традиционным исследовательским вопросам, вооружившись продвинутой методологией¹. Императив продолжения исследовательских усилий означал необходимость пересмотра «старых» результатов, будто появление новых способов анализа данных лишает их легитимности. Самые респектабельные журналы² стали поддерживать тот способ обмена аргументами, который лучше всего укладывался в жанр экспериментальной статьи. Именно эта форма была заимствована теми дисциплинами, которые хотели называться журнальной наукой флекковского типа.

¹ Из анализа жанра: «Статья Педжа и Джонса является в этом смысле наиболее ярким случаем. Они начинают с обзора литературы длиной в одну страницу, за которым следует ее восьмистраничная методологическая критика и трехстраничное описание собственных методологических инноваций. Меньше пяти страниц посвящено представлению данных и обсуждению их анализа. Наконец, все завершается десятью пунктами заключения, девять из которых посвящены методологическим вопросам и только один эмпирическим открытиям» [Bazerman 1988: 284].

² Им в том числе было проще в рамках этой формы оценить рукопись, вынести справедливое нейтральное суждение, в котором отсутствовало бы суждение вкуса [Abbott 1999].

Задачи легитимности были решены, но пришлось отказаться от всего того, что не укладывалось в прокрустово ложе легитимных образцов. В этом смысле многие социологические достижения являются достижениями только в глазах самих социологов: «Открытия и изобретения в социологии всегда были открытиями и изобретениями того, как нечто всем известное может быть втиснуто в формат академической коммуникации. Нельзя сказать, что Гоффман или Гарфинкель открыли что-то абсолютно новое для своих социологических читателей, но они показали им, как о том, что те знают, можно написать статью, которую примет AJS» [Соколов 2009: 137]. Их перевод в режим популярного знания далеко не всегда обернется благоприятным для социологии впечатлением. Можно попробовать провести эксперимент и рассказать образованному дилетанту о наших самых сильных социологических работах, которые в свое время произвели на нас достаточное впечатление, чтобы мы продолжили заниматься социологией. Пересказ открытий рискует не сообщить собеседнику ничего исключительно нового и необычного, с чем бы он никогда не сталкивался в книгах или кинематографе. Если же мы попытаемся уточнить, что эта книга заслужила исключительное внимание к себе, потому что вся предыдущая социология предпочитала не занимать свое время этими феноменами или же не была способна убедительно инкорпорировать их в приемлемые для университетской среды формы работы, то мы рискуем окончательно дискредитировать свою науку в глазах собеседника.

Обмен аргументами может быть завязан не только на методах, но и на работе с социологическими текстами. Этот тип социологии совсем не похож на социологию регрессий, но так же предполагает освоение определенных форм работы для участия в дискуссии. Главная его особенность — это умение выстраивать тексты в ту или иную генеалогию. Никогда не достаточно просто прочесть Зиммеля, нужно хорошо понимать, какое место в интеллектуальном движении занимают его работы. Эта социология не эмпирических достижений, а способов рассуждений также сталкивается с трудностями, если пытается через режим популярного знания впечатлить образованных дилетантов. Атрибуты популярного знания — простота и доступность — лишают этот тип социологии шансов на успех. Попробуйте при каком-либо способе рассуждения вынести за скобки все переплетение аргументов и деталей, которыми невозможно не пожертвовать во имя упрощенности. Оставшиеся в результате формулировки потеряют все то, что придает им привкус социологического достижения. Популярное знание излагается так, будто никакого развития мысли никогда не су-

ществовало, пишет Флек. Однако без этого развития мысли многие достижения социологической науки перестают такими быть, так как достижениями они стали в контексте предшествующей мысли.

Например, разговор о социологии вещей будет строиться как «история концептуализации материального объекта в социальном теоретизировании» и в том случае, когда он ведется на страницах академического издания, и когда ему отведено не больше получаса на экранах телевизоров. В рассказе об «открытии» социологии вещей трудно обойтись без упоминания неокантианской философии, царства смыслов и классиков социологии. Попытка сделать из имени классика, оказавшего влияние на социологические способы рассуждения о вещах, элемент популярного знания приведет к необходимости пожертвовать многими составляющими того, что называют «конечным словарем», обладающим собственной метафорикой и логикой рассмотрения материальности» [Вахштайн 2006: 7]. Экономность и образность всей логики рассуждения для образованных дилетантов потребует ограничиться примерно такими словами о том, что социология изначально формировалась как наука о «нематериальном»: «Стол как определение, воплощение определенного смысла? Какой смысл за этим стоит? Какой смысл приписывают ему люди?» В свою очередь это утверждение о социологии как науке «нематериального» требует дальнейшей отсылки к преодолению декартова дуализма между психическим и материальным. И так далее, и так далее. Социологические идеи не могут существовать вне многочисленных примечаний, ограничений и разъяснений. Лишенные их, они имеют все шансы превратиться в набор конструкций, которые для дилетантов экзотерического уровня покажутся такими же странными, как идеи той социологии, которой мы сами отказываем в нормальности.

В этом тексте мы сосредоточились на аргументации того, что само социологическое знание мало подходит для популярного формата экзотерического круга науки. Социологические достижения, рожденные из духа академической респектабельности, имеют все шансы перестать быть достижениями в глазах образованных дилетантов. Мы можем дальше спросить, почему в одних национальных социологиях процветает псевдонаука, а в других все же удается создать работающие защитные механизмы. Ответ на этот вопрос будет иметь дело совсем с другим сюжетом, в котором главными окажутся статусные заслоны, характерные для академий с консолидированными статусными системами. В этом случае строгий отбор тех, кто обладает законным правом говорить от имени частной дисциплины и всей университетской корпорации, позволяет

доверять без особого риска тем немногим представителям академического мира, чей голос добирается до образованных дилетантов.

Библиография

- Вахштайн В.* Социология вещей и «поворот к материальному» в социальной теории // Социология вещей / Ред. В. Вахштайн. М.: Территория будущего, 2006. С. 7–43.
- Соколов М.* Гоффман, Мэри Дуглас и смысл (академической) жизни // Антропологический форум. 2009. № 10. С. 130–143.
- Соколов М.* Там и здесь: могут ли институциональные факторы объяснить состояние теоретической социологии в России? // Социологический журнал. 2010. № 1. С. 126–132.
- Флек Л.* Возникновение и развитие научного факта. Введение в теорию стиля мышления и мыслительного коллектива. М.: Идея-Пресс; Дом интеллектуальной книги, 1999.
- Abbott A.* Department and Discipline: Chicago Sociology at One Hundred. Chicago: University of Chicago Press, 1999.
- Abbott A.* Chaos of Disciplines. Chicago: University of Chicago Press, 2001.
- Bazerman C.* Shaping Written Knowledge. Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 1988.
- Becker H., Rau W.* Sociology in 1990s // S. Cole (ed.). What's Wrong With Sociology. New Jersey: Rutgers, 2001. P. 121–131.
- Bjorklund D.* Sociologists as Characters in Twentieth-Century Novels // American Sociologist. 2001. Vol. 32. No. 4. P. 23–41.
- Cole S.* The Hierarchy of the Sciences? // The American Journal of Sociology. 1983. Vol. 89. P. 111–139.
- Conklin J.* Sociology in Hollywood Films // American Sociologist. 1999. Vol. 40. No. 3. P. 198–213.
- Lynch M., Bogen D.* Sociology's Asociological "Core": An Examination of Textbook Sociology in Light of the Sociology of Scientific Knowledge // The American Journal of Sociology. 1997. Vol. 62. No. 3. P. 481–493.
- Park R.* The Natural History of the Newspaper // The American Journal of Sociology. 1923. Vol. 29. No. 3. P. 273–289.

РЕБЕККА ГУЛД

Я наблюдаю расцвет псевдонауки по всему постсоветскому Кавказу в двух дисциплинах: лингвистике и истории литературы. Язык и литература — это области исследования, которые во многих отношениях различаются, но в Грузии, Азербайджане, Дагестане и Чечне освоение этих дисциплин псевдонаукой идет параллельными путями. Во всех регионах Кавказа вернакулярная наука слишком часто служит рупором для постсоветских национализмов, а локальные истории, созданные в жанре восхваления, распространяются в ущерб плюралистическому мышлению. В то же время локальные интерпретации языка часто отражают происходящее в более официальных научных направлениях, которые разделяют сходные националистические предрассудки. В этой заметке я расскажу о недавнем расцвете лингвистической и литературоведческой псевдонауки на постсоветском Кавказе и предложу стратегии, которые специалисты-гуманитарии могли бы задействовать, имея дело с популярными искажениями их научной миссии. Опираясь на книгу Томаса Куна о структуре научных революций, я отвечаю преимущественно на четвертый из предложенных вопросов — о том, как мы можем реагировать на «непрофессиональные разыскания» в наших научных областях.

Изобретение лингвистических истоков

Чаше всего я сталкиваюсь с лингвистической псевдонаукой во время полевой работы с чеченскими кистами, которую веду главным образом в ущелье Панкиси с 2005—2006 гг. Кисты — это грузинский этноним, обозначающий чеченцев и ингушей, которые начали массово переселяться в Грузию во время Кавказской войны (1817—1864). Удаленность Панкиси от столичных центров создает идеальные условия для возникновения вернакулярных идеологий.

Ребекка Гулд (Rebecca Gould)

Колледж Йельского университета
и Национального университета
Сингапура,
Нью Хейвен, США
rebecca.gould@yale-nus.edu.sg

В Панкиси, как и по всему бывшему Советскому Союзу, влиятельные члены сообщества, прежде всего мужчины, занимающие авторитетные позиции учителей, религиозных лидеров и членов администраций, распространяют теории происхождения своего языка, в которых под внешней наукообразностью скрывается пропаганда националистических идей. Несуществующие связи современного чеченского языка с шумерским и баскским, на которых настаивают эти люди, стали обычной приметой кавказских лингвистических ландшафтов, и не только среди чеченцев и кистов. В своих статьях о псевдолингвистических теориях интеллектуала и по совместительству политика Сулеймана Гумашвили [Gould 2007; 2011; 2013] я пишу о влиянии, которым обладает этот самопровозглашенный лингвист и поэт в своем сообществе, и о локальном противостоянии его теориям, преимущественно со стороны женщин из его семьи.

Неподалеку, в деревне Зинобиани, где живут удины, которые на территории Грузии являются меньшинством, общественный активист Мамули Нешумашвили, как и Гумашвили, посвятил себя распространению тщательно проработанных теорий, обосновывающих древность удинского языка и, как следствие, его носителей [Neshumashvili 2009]. Будучи директором музея удинского народа и культурным активистом, который пользуется уважением в локальном сообществе, Нешумашвили недавно получил средства от грузинского фонда «Открытое общество» и Швейцарского агентства развития и сотрудничества на публикации и культурные проекты¹. Лингвисты, которые занимаются языками Кавказа, признают удинский «языком под угрозой исчезновения» дагестанско-лезгинской подгруппы «северо-восточной кавказской языковой семьи» [Harris 2002: ix]. Если значимость удинского языка для лингвистики отмечают лингвисты по всему миру, то задача изучения удинской культуры, ее истории и отношений с соседями остается местным лидерам, таким как Нешумашвили. Главный довод Нешумашвили в пользу древности удин — это тот факт, что сами себя они называют «народом Ноя», как будто это самоназвание доказывает, что удины, будучи самым древним народом Кавказа, имеют неотчуждаемое право на свою территорию. Конечно, теории и методы Нешумашвили не отвечают строгим научным стандартам, но зато его мотивы прозрачны: он хочет защитить свой народ, не допустить, чтобы его вытеснили чеченцы.

¹ Информация о гранте, который он получил от грузинского фонда «Открытое общество»: <http://www.osgf.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=50&info_id=3073>; публикации Нешумашвили, выполненные на средства Швейцарского агентства развития и сотрудничества, см. на его сайте: <<http://udige.s3.serv.ge/>>. Видео, где Нешумашвили читает свой текст по-удински, доступно здесь: <<http://www.youtube.com/watch?v=JYzGxFCwK4U>>.

Лингвистический национализм кистов устроен еще более сложно, чем у удин, потому что кистинский язык входит в вайнахскую языковую группу, которая включает чеченский, ингушский и цова-тушинский (как и кистинский, этот язык бытует на территории Грузии, но близкородствен чечено-ингушскому). Вайнахская языковая группа в свою очередь входит в иберо-кавказскую языковую семью, которая распространена в Абхазии и Азербайджане (включая, например, Кубу, где говорят по-хиналугски, и Джар, где основной язык — аварский). Иберо-кавказская языковая группа привлекает внимание многих лингвистов во всем мире благодаря сложной морфологии ее языков и отсутствию видимых связей с другими языковыми семьями [Nichols 1992; Tuite 2008]. Солидный объем советских исследований иберо-кавказских языков обязан своим существованием именно тем аспектам этой языковой семьи, которые важны для лингвистики. В последние несколько десятилетий чисто лингвистические научные изыскания превратились в псевдонаучные спекуляции.

Многие сторонники псевдолингвистических этимологий, которых я видела в моем поле, работают в местных университетах. Но нередко мне встречались и местные ученые, которые отвергали такие этимологии как «чепуху» и в своей работе ориентировались на более высокие научные стандарты. Например, мой преподаватель чеченского языка Ростом Параулидзе, который тоже был из Панкиси и получил докторскую степень в Институте языкознания им. Чикобава в Тбилиси, настаивал, что те, кто занимается «только этимологией», не обращая внимания на глагольные формы, морфологию существительных и синтаксис, не имеют права называться лингвистами. Ростом из вежливости не стал открыто критиковать соседа. В грузинской академической среде существовало четкое разделение на сторонников националистических лингвистических гипотез и противников, которые считали их ненаучными, по крайней мере когда речь шла не о грузинском языке, а о языках меньшинств на территории Грузии.

Когда постсоветские вернакулярные интеллектуалы пишут историю своих родных языков, ориентируясь на националистические поиски аутентичности, и помещают кистинский, удинский и чеченский среди древнейших языков мира, они раздувают значимость локальных контекстов по сравнению с глобальными и отрезают свои сообщества и объекты своего интереса от более широкого научного дискурса. Это пример того, как бесстрастный поиск знания становится инструментом в руках идеологии. Но и осуждать их деятельность тоже не так-то просто, потому что Гумашвили и Нешумашвили подталкивают свои сообщества к серьезным размышлениям

о политике и истории языка, а их страстным стремлением защитить свои языки, находящиеся под угрозой исчезновения, можно, несомненно, только восхищаться.

Это лишь один из многих факторов, но отчасти распространение псевдонаучного дискурса о языках — это результат социально-экономических условий, в которых вынуждена существовать наука постсоветского Кавказа. Там, где вообще есть университеты, им не хватает ресурсов для обеспечения качественных исследований. Преподаватели университетов Кавказа обычно не ездят на международные конференции, и их контакты с научным миром часто ограничиваются в лучшем случае Россией. До окраин бывшего Советского Союза не доходят современные научные журналы, языками международной науки владеют немногие. Переводов делается очень мало. Местные университеты не могут позволить себе доступ к дорогим научным базам данных, которыми пользуются сотрудники исследовательских университетов США и Европы. В результате неравного распределения ресурсов возникает интеллектуальный вакуум, который и порождает псевдонауку.

Национализация истории литературы

Как и с кустарным производством этимологий, с псевдонаукой в литературоведении я сталкиваюсь непосредственно в поле, в беседах с профессорами, владельцами книжных магазинов и рядовыми читателями на Кавказе. Подобно более официальным научным дискурсам (и в отличие от лингвистической псевдонауки), кавказское псевдолитературоведение развивается и дистанционно, выискивая книги и журналы по истории персидской литературы, которые доходят до библиотек США и еще более активно распространяются через Интернет. В большинстве книг о персидской литературе, которые опубликованы в Азербайджане, мировое значение классических персидских поэтов с Кавказа, таких как Хагани из Ширвана (ум. 1199), Низами из Гянджи (ум. 1209), сводится к проекту повышения этнического престижа.

К сожалению, большинство ученых из регионов, где жили эти поэты, полагают, что объекты их интереса вдохновлялись исключительно целью возвысить свои культуры. Поэтому Низами сделали «национальным» поэтом Азербайджана, как будто для него должно быть честью стать представителем государства, которое он никогда бы не признал своим, а о связи Хагани с поэтическими традициями территорий от Багдада до Лахора просто забыли. Тем временем в постсоветской Средней Азии Рудаки, первый значительный поэт, писавший на новом персидском языке, в полном несоответствии с хронологией

становится «национальным» поэтом Таджикистана, несмотря на то что большую часть своих стихов он написал в Бухаре, на территории современного Узбекистана. Недавняя работа, посвященная этнической политизации современных исследований Низами, показывает, как научные предрассудки, берущие начало в «советской политике национального строительства», в постсоветское время стали «инструментом предвзятых, псевдонаучных подходов и политических спекуляций» [Arakelova 2012: ii].

Гораздо лучший способ отдать должное наследию этих поэтов — изучение их вклада в мировую литературу, чем и занимаются многочисленные ученые в Европе и США. Можно, например, исследовать влияние арабских нарративных традиций на персидские поэмы Низами [Seyed-Gohrab 2003]. Или взять специфический жанр, газель или тюремную лирику, и проследить его отголоски в разных литературных традициях [Sharma 2000; Korangy 2007]. Или изучать взаимоотношения между поэтом и его покровителем в персидских панегириках и посмотреть, как в литературных текстах изображались политические отношения между двором и читающей общественностью [Meisami 1987].

Вместо этого псевдонаука уделяет внимание исключительно этническим корням того или иного писателя и использует для национального возвеличивания даже его литературный язык, каждый раз за выбором того или иного слова усматривая проявление изначально редуccionистской идеи идентичности. Если мы хотим заменить псевдонауку более обоснованными и значимыми исследованиями, наша задача заключается в том, чтобы противостоять воспроизводству этих категорий путем их деконструкции. Вызов, который книга Лорнеджада и Дуствзаде [Lornejad, Doostzadeh 2012] бросает националистическим прочтениям биографии Низами, заслуживает восхищения, но нам нужно пойти дальше, а не просто оспаривать сведение таланта этого великого персидского поэта к его тюркской этничности, доказывая, что у него была иранская идентичность. В подобной дискуссии необходимо затронуть значительно более важный вопрос о релевантности, точнее нерелевантности этнических категорий для персидского средневековья.

Псевдонаучным литературоведением занимается в основном городская элита, поэтому его влияние на сельские сообщества Панкиси и Зинобиани менее очевидно, но науке оно наносит еще более существенный вред, чем народная лингвистика. Такая освященная авторитетами форма псевдонауки даже более опасна, чем распространение ложных этимологий, потому что увеличивается риск, что те, перед кем стоит задача обучения

следующего поколения исследователей, воспримут ее всерьез. Как станет ясно ниже, я выступаю за несколько более примиренческий подход к псевдонауке в гуманитарной сфере, чем, видимо, понравилось бы многим моим коллегам (см., например, дискуссию о моем переводе проекта Сулеймана Гумашвили в: [Colarusso 2010]). Но осуждать редукционистские прочтения необходимо всегда, когда они мешают нам и другим читателям понять историческую сложность языкового развития или оценить культурные нюансы, заложенные в классической персидской поэтике.

Сдвиги парадигм

Как должен исследователь реагировать на псевдонауку, особенно если она формирует мышление наших коллег в тех регионах, где мы работаем? Следует ли нам отвергнуть ее или принять, предоставить ей самой сгнить и разложиться, подобно ране под лучами солнца, или принять в ней непосредственное участие в надежде стимулировать предметные дискуссии о значении и функциях науки в публичной сфере? Подход, который я предлагаю, возлагает на исследователей моральное бремя поведать о наших выводах большому миру. Открыто и обоснованно дискутировать с теми, кто распространяет идеи, которым мы противостоим, — это наша ответственность. Просто отвергая псевдонауку, как делают многие из нас, мы, возможно, эффективно защищаем границы нашей дисциплины, но миру в целом от этого пользы немного.

В заключении к своему эпохальному исследованию структуры научных революций Томас Кун отмечает, что людей, которые действуют в соответствии с разными научными парадигмами и ориентируются на разные научные системы ценностей, можно тем не менее «представить в качестве членов различных языковых сообществ, и что проблемы коммуникации между ними могут быть анализируемы как проблемы перевода» с их языка на язык, более подходящий для другой дисциплины [Кун 2003: 260]. Это описание научных дискуссий как поисков перевода, вероятно, даже лучше подходит для форм паранауки, о которых мы говорим здесь, чем для научных парадигм, которые имел в виду Кун. В анализе Куна наиболее релевантно для нас то, что он всерьез принимает факт лингвистической несоизмеримости: невозможно свести в историю с единым сюжетом все нарративы, удовлетворяющие требованиям, — в то время как те, кто изучал историю науки до него, пытались объяснить различия между такими нарративами, механически задействуя единственный тип объективности.

Даже настаивая на неизбежности множественных научных парадигм и необходимости признать, что для одной и той же проблемы существует множество возможных решений, Кун отказывается от ярлыка релятивиста. Заявляя, что «представления о соответствии между онтологией теории и ее “реальным” подобием в самой природе» «в принципе иллюзорны» [Кун 2003: 306], Кун тем не менее настаивает, что научное знание «является систематическим, выдержавшим проверку временем и в некотором смысле может быть исправлено» [Там же: 260]. Он обосновывает неизбежное сосуществование диаметрально противоположных научных объяснений одного и того же явления скорее исторически, чем онтологически.

Вслед за Куном я утверждаю, что разница между наукой и паранаукой скорее количественная, чем качественная. Науку и паранауку следует рассматривать в исторической перспективе, пользуясь куновской концепцией парадигмы. Каждый псевдоученый — это ученый *in potentia*, а каждый увлеченный любитель — это профессионал, которому просто не хватает той подготовки, которая есть у нас. По крайней мере в гуманитарной сфере лучшие профессионалы в той или иной дисциплине часто бывают еще и самыми страстными и увлеченными любителями. Научные сообщества, которые продолжают помнить об изначальном значении слова «любитель» («тот, кто любит»), даже когда становятся профессиональными и институционализируются, скорее всего, сделают для блага общества больше других.

Академический мир нуждается в таких любителях, как Сулейман Гумашвили и Мамука Нешумашвили, стремящихся выполнять этическую миссию в обществе. Даже когда мы не согласны с их методами и выводами, надо признать, что Гумашвили, Нешумашвили и другие подобные культурные активисты с Кавказа часто делают для просвещения своего сообщества больше, чем любой признанный исследователь. Вместо того чтобы пытаться заткнуть рот таким индивидам при помощи власти, данной нам институциями, нам бы следовало сотрудничать с ними, чтобы выработать язык, на котором можно будет обсудить относительные преимущества наших позиций.

Тезисы Куна, выработанные на основе дискуссий внутри истории науки, нужно расширить до отношений между научными и ненаучными дискурсами, включая псевдонауки, расцветающие на Кавказе. Я стараюсь реагировать на «непрофессиональные разыскания» в моей области настолько открыто, насколько это возможно, потому что в моей работе общение с непрофессионалами — это верный способ изменить мир. Конечно, время, терпение и человеческая природа не всегда

позволяют нам настолько полно взаимодействовать с непрофессионалами, насколько следовало бы, но человеческие слабости никак не меняют тот идеал, к которому нам стоит стремиться. Диалог с непрофессионалами, любителями и другими представителями общества — это и есть самый настоящий научный проект, а не просто какое-то необязательное дополнение к нему. Контакты с миром за пределами академии важны для будущего наших дисциплин по меньшей мере в той же степени, что и наше общение с профессиональными коллегами.

Я предлагаю исследователям более открыто, чем сейчас, контактировать с псевдонаукой и прежде всего с псевдонаукой, которая имеет хождение в тех регионах, которые мы изучаем, вовсе не для того, чтобы стереть границу между наукой и псевдонаукой. Я бы скорее сказала, что расцвет псевдонауки на территории бывшего Советского Союза (как и во всем современном мире) отчасти является результатом неудачи ученых, которые оказались неспособны говорить о своих идеях так, чтобы это находило резонанс в публичной сфере. Вслед за Куном мы можем ответить на быстрое распространение псевдонауки тем, что рассмотрим наши собственные дисциплины в исторической перспективе. Такая историзация не означает отказа от легитимности науки или отрицания существования какой-либо объективности, как, кажется, подумали некоторые читатели моих прежних работ о Гумашвили.

Пятьдесят лет назад Кун сетовал по поводу «углубления пропасти, все больше разделяющей профессионального ученого и его коллег в других областях», и призывал своих читателей уделять больше внимания «взаимосвязи между этим процессом углубления пропасти и внутренними механизмами развития науки» [Кун 2003: 45], чтобы произошла еще одна научная революция. Теперь, когда пропасть стала даже глубже, чем полвека назад, когда ее измерял Кун, его слова должны вдохновить нас на изучение тех факторов внутри наших дисциплин, которые заблокировали и доступ широкой общественности к последним достижениям науки, и контакты наших дисциплин с другими областями научных исследований. Псевдонаука появилась, чтобы заполнить пустоту, возникшую в результате нашей профессионализации.

Как отмечает Кун, сдвиг к специализации свидетельствует о зрелости дисциплины. Это скорее признак успеха, чем повод для жалоб. И все же, даже когда мы размышляем об огромном прогрессе современной науки, необходимо уделять внимание и негативным последствиям этих достижений, одно из которых — это расширяющаяся пропасть между нашим академическим кругом читателей и постоянно сокращающейся неакаде-

мической читательской аудиторией. Нельзя сказать, что широкая общественность просто стала меньше интересоваться наукой, чем раньше. По сравнению с предыдущими поколениями современная наука сама прилагает усилия, чтобы не быть релевантной для широкой публики. Продолжающееся наступление псевдонауки на научные исследования связано со многими факторами, но возрастающая важность специализации и профессионализации в европейской и американской академической среде сыграла важную роль в этом историческом процессе мирового масштаба.

Самый эффективный ответ на проблему псевдонауки и способ заменить редукционистские парадигмы на те более интересные и тонкие способы мышления и существования, которые мы стремимся развить у самих себя и в окружающем мире, — это говорить напрямую с теми, кто распространяет ложную информацию. Используя прямолинейный термин Куна, нам следует стремиться «обратить» распространителей лженауки к более строгим стандартам и подтолкнуть их к более высоким уровням рефлексивности [Kuhn 1996: 150, 204]. Лорнеджд и Дустзадэ предприняли важный шаг в этом направлении в области истории персидской литературы. В области кавказской лингвистики не создано ничего, что можно было бы сравнить с выступлением этих исследователей против популярных концепций. Различие между историей литературы и лингвистикой в данном случае можно объяснить той степенью, в которой та или иная дисциплина воспринимается как «научная». Литературная критика должна или ориентироваться на широкого читателя, или отказаться от какой-либо идеи о своем предназначении, это по-прежнему одна из немногих областей, где «любитель может льстить себя надеждой, будто он следит за прогрессом, читая подлинные сообщения ученых-исследователей» [Кун 2003: 45]. Лингвистическая дисциплина, напротив, ближе к науке в том узком смысле, что она недоступна тем, у кого нет специальной подготовки. Возможно, из-за этого различия лингвисты проявляют сравнительно слабый интерес к популярным искажениям в их области, не желая ни знакомиться с ними, ни оспаривать их.

Многие из тех, кто больше всего занимается распространением ложных представлений о языке, культуре и истории, скорее всего, отвергли бы предложение пересмотреть свои категории, чтобы заняться более реальными проблемами, релевантными в контексте мировой истории. Однако гипотетический отказ от такого предложения — это проблема не науки. Проблема науки заключается в том, что мы очень редко приглашаем присоединиться к нам в нашем общем научном поиске тех, кто не связан с научными институциями, и осо-

бенно любителей, которые распространяют идеи вернакулярного национализма.

Один из конкретных способов взаимодействия с широкой публикой для ученого — это участие в многочисленных проектах, связанных с помещением информации в открытый доступ, которые сейчас действуют в академическом мире. Мы можем отказать размещать наши работы на ресурсах с платным доступом и работать над тем, чтобы научные исследования, которые имеют или должны иметь статус всеобщего достояния, но на данный момент доступны только внутри институций, были открыты для широкой публики. В этом смысле очень важно, что наиболее обоснованное на сегодняшний день опровержение псевдонауки в истории персидской литературы полностью и бесплатно доступно любому, кто может войти в Интернет¹. И все же такой свободный доступ к информации встречается еще слишком редко. Если бы мы более серьезно и основательно относились к своему присутствию в зоне публичного внимания, псевдонаука потеряла бы свою власть над народным воображением. Конечно, такие шаги — это только начало. Они могут помочь создать инфраструктуру, необходимую для диалога между учеными и широкой публикой, но их одних недостаточно, чтобы этот диалог начался.

Когда исследователь отрезан от широкого мира, его или ее работа всегда несет многочисленные характерные признаки псевдонауки. На мой взгляд, это не столько недостаток каждой отдельной работы или индивида, сколько результат того, как действуют парадигмы или как конструируется дискурс. В конце концов, многие объяснительные парадигмы, которые были нормативными в домодерных контекстах, сейчас кажутся фантастическими, тем не менее их создатели считаются новаторами. Как говорил Кун (и, ближе к нашему времени, Бруно Латур), источником мифов «могут быть те же самые методы, а причины их существования оказываются такими же, как и те, с помощью которых в наши дни достигается научное знание» [Кун 2003: 20] (ср.: [Latour 1988]). Различие между наукой и мифом, как и между наукой и псевдонаукой, — это вопрос парадигм, количества, но не качества. Мифы (как и наука) имеют смысл в той степени, в какой отвечают на специфические вопросы. Объяснительная сила сама по себе не является показателем научной безупречности, но она помогает объяснить расцвет псевдонауки на территории бывшего Советского Союза.

¹ Я говорю о книге Лорнеджада и Дустзаде, которую можно скачать здесь: <http://archive.org/details/OnTheModernPoliticizationOfThePersianPoetNezamiGanjavi_251>. Больше размышлений о свободном доступе как академической необходимости (mandate) см.: [Gould 2014].

Первый шаг навстречу паранаучному дискурсу — это принять его всерьез. Всерьез, и не просто понимая риск, который он представляет для легитимного научного поиска, но и рассматривая его как значимое выражение фундаментальной человеческой потребности осмыслить окружающее при помощи любых доступных инструментов. Национализм угнетенных, который так часто стоит за псевдонаукой в постсоветском контексте, необходимо отличать от национализма угнетателей. Даже когда мы развенчиваем националистические мифы, очень важно не проводить социальных границ между нами и нашими собратьями по всему миру, которые задают те же вопросы, что и мы сами, пусть даже их выводы имеют целью возвеличивание маргинализированных локальных контекстов.

Если мы допускаем, что те, кто создает псевдонаучные локальные истории, не занимаются намеренным распространением лжи или сознательной пропагандой расистских идеологий, то взаимодействовать с ними как с равными, как с теми, кто преследует те же цели, что и мы, становится нашим моральным долгом. Этот долг так же осязаем, как и наша ответственность перед абстрактной наукой. Чтобы преодолеть псевдонауку, нам нужно понять, откуда она происходит и какие мотивы за ней стоят. Наше исследование должно быть в равной степени историческим и социологическим, и, что самое важное, самих себя нам тоже следует подвергнуть тщательному изучению.

Я не одобряю псевдонауку, широко распространенную по всему Кавказу, но я также считаю, что приезжим исследователям нужно следить за тем, чтобы не заклеить как «других» тех, кто действует в рамках националистических идеологий, кто не располагает интеллектуальными инструментами, которые доступны ученым, работающим в хорошо обеспеченных учреждениях, и кто в таких условиях создает тексты, излагающие преувеличенно локализованные версии истории. Наша насущная задача — не осуждать или отвергать такие подходы, или, еще хуже, отказываться от общения с их приверженцами, а вступить в диалог с теми, с кем мы не согласны.

Нам следует стремиться «обратить» наших не связанных с институтами коллег в наш способ мышления не ради наших личных убеждений, но ради нашего общего проекта объяснения и распространения научного знания. Мы должны уметь доказать преимущества науки людям не из академической среды. Процесс обсуждения наших ценностей в публичной сфере неизбежно приведет нас к более глубоким размышлениям над нашей научной миссией, так что и для нас здесь будет выгода. Общение с любителями и псевдоучеными не только позволит

истребить лженауку, но и поможет нам лучше понять наши собственные идеи и послужить на благо общества.

Полвека назад Кун завершил свой шедевр серией вопросов, которые стоит повторить здесь, потому что они поднимают именно ту проблему, с которой мы столкнулись: как отделить зерна от плевел, как определить научное качество, не поддавшись иллюзорной вере в наше превосходство перед нашими менее обеспеченными собратьями. Кун предлагает своим читателям распространить его анализ структуры научных революций на гуманитарные науки: «Каким образом сообщество отбирает человека для участия в совместной работе?» — спрашивает Кун и продолжает: «Каков процесс социализации группы и каковы отдельные его стадии? <...> Какие отклонения <...> будет она считать допустимыми и как она устраняет недопустимые заблуждения?» [Кун 2003: 310]. Слишком часто то, что мы подразумеваем под наукой, определяется этими социальными различиями, а не доводами разума. Если мы станем искать ответы на вопросы Куна наедине с собой, в общении с коллегами или в более широком неакадемическом мире, где мы выступаем как граждане, мыслители и исследователи, это будет движение к тому, чтобы превратить псевдонауку в формы научного поиска, которые обогатят академический мир и принесут пользу миру за его пределами.

Библиография

- Кун Т. Структура научных революций. М.: Аст, 2003.
- Arakelova V. Preface // On the Modern Politicization of the Persian Poet Nezami Ganjavi. Yerevan Series for Oriental Studies 1. Yerevan: Caucasian Centre for Iranian Studies, 2012. P. i–ii.
- Colarusso J. Review of Caucasus Paradigms // The Russian Review. 2010. Vol. 69. No. 2. P. 348–352.
- Gould R. Language Dreamers: Race and the Politics of Etymology in the Caucasus // B. Grant, L. Yalçın-Heckmann (eds.). Caucasus Paradigms: Anthropologies, Histories, and the Making of a World Area. Münster: LIT Verlag, 2007. P. 143–166.
- Gould R. Secularism and Belief in Georgia's Pankisi Gorge // Journal of Islamic Studies. 2011. Vol. 22. No. 3. P. 339–373.
- Gould R. Everyday Violence, Quotidian Grievs: Kidnapping in the Pankisi Gorge // Women Living Under Muslim Laws (WLUML) Dossier 32. 2013 (forthcoming).
- Gould R. Open-Sourcing the Global Academy: Aaron Swartz's Legacy // Academe: Magazine of the American Association of University Professors. 2014. Vol. 100. No. 1 (forthcoming).
- Korangy A. Development of the Ghazal and Khaqani's Contribution: A Study on the Development of Ghazal and a Literary Exegesis of a 12th C. Poetic Harbinger. PhD Dis., Harvard University, 2007.

- Kuhn Th.S.* The Structure of Scientific Revolutions (1962). Chicago: University of Chicago Press, 1996.
- Harris A.C.* Endoclititics and the Origins of Udi Morphosyntax. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Latour B.* The Pasteurization of France / A. Sheridan, J. Law (trans.). Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988.
- Lornejad S., Doostzadeh A.* On the Modern Politicization of the Persian Poet Nezami Ganjavi. Yerevan Series for Oriental Studies 1. Yerevan: Caucasian Centre for Iranian Studies, 2012.
- Meisami J.S.* Medieval Persian Court Poetry. Princeton: Princeton University Press, 1987.
- Neshumashvili M.* Udiuri damtserlobebi [Udi Writing Systems]. N.p. Publication subsidized by the Swiss Agency for Development and Cooperation. Tbilisi, 2009.
- Nichols J.* Linguistic Diversity in Space and Time. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
- Seyed-Gohrab A.A.* Laylī and Majnūn: Love, Madness, and Mystic Longing in Niāmī's Epic Romance. Leiden: Brill, 2003.
- Sharma S.* Persian Poetry at the Indian Frontier: Maṣ'ud Sa'd Salmān of Lahore. Delhi: Orient Blackswan, 2000.
- Tuite K.* The Rise and Fall and Revival of the Ibero-Caucasian Hypothesis // Historiographia Linguistica. 2008. Vol. 35. No. 1–2. P. 23–82.

Пер. с англ. Александры Касаткиной

ДМИТРИЙ ДЬЯКОНОВ

1 Непрофессионалов притягивают наиболее модные области знания с запаздыванием в несколько лет.

2 Может и не скатиться. Существует научная методология, с теми или иными модификациями действующая в любой области науки. Человек, владеющий научным методом, имеет иногда право прийти с какими-то мыслями в «чужую» область. Иногда это бывает интересно, хотя редко. Чаше бывает безобразное фиаско.

Дмитрий Игоревич Дьяконов
 Петербургский институт
 ядерной физики

Для меня «непрофессионально» и «псевдо-научно» синонимы.

3

Прежде всего по незнанию того, что уже достигнуто в данной области, особенно в последнее время.

4

Скорее пытаюсь бороться. Если какой-то непрофессиональный человек присылает мне свой ненаучный бред, я обычно, насколько могу вежливо, отвечаю, например, в стиле: «Восхищен большой работой, которую Вы проделали, но хорошо бы Вы изучили такой-то учебник...». К сожалению, это часто бывают психически неуравновешенные личности, так что не всегда можно рассчитывать на адекватную реакцию.

Если непрофессиональные разыскания в какой-то форме уже опубликованы, надо резко реагировать.

ГЕОРГИЙ КАНТОР

Историческая «паранаука»

«Деление 8 на 2 дает 3 (при делении по вертикали) или 0 (при делении по горизонтали). Поэтому число 8 *должно быть равным* сумме двух троек либо двух нулей (или, что то же самое, 0×2)» [Данилевский 1999: 289]. Пародия выдающегося исследователя русского летописания, желавшего создать понятный математикам аналог экзерсисов А.Т. Фоменко над мировой историей, оказалась куда ближе к действительности, чем, вероятно, хотелось ее автору. Явление «паранауки», в особенности в бывшем СССР, давно уже не ограничивается сферой гуманитарных наук, из которой взяты примеры, предложенные журналом как отправной пункт для дискуссии: деятельность «академика» Петрика или авторов «теории торсионных полей» приобрела достаточно широкую известность¹.

Георгий Кантор (Georgy Kantor)
Оксфордский университет,
Великобритания
georgy.kantor@classics.ox.ac.uk

Насколько мне известно, статистика «паранаучных» публикаций и их популярности систематически никем не ведется, ни в российском, ни в мировом масштабе. Комиссия

¹ Об «академике» Петрике см.: Заключение Комиссии РАН по проведению экспертизы работ Петрика В.И. <<http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=f46b485a-3fa3-49e3-8835-9769676b54e7#content>>; о теории «торсионных полей» см., например: [Кругляков 2008].

РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, учреждение в некоторых отношениях спорное, ограничивается публикацией бюллетеней. Внимание российской общественности в последние годы было более сосредоточено на проблемах верификации ученых степеней, а ведение «индекса цитирования» псевдонаучных публикаций едва ли кого-то интересует в достаточной степени.

Дальнейшие заметки рассматривают именно узкоспециальные проблемы с точки зрения историка античности, однако уверенности в том, что именно история и лингвистика (а не физика или медицина, или психология) в наибольшей степени страдают от лженаучных публикаций, у меня нет, по крайней мере постольку, поскольку речь идет о России, а не о мировой науке в целом. Полноценный анализ должен будет учесть как социальные условия существования российской науки, так и, шире, культурный климат последних десятилетий.

Среди причин успехов «паранауки», специфичных для истории и филологии, в особенности (но не только) в России и других странах постсоветского пространства, зачастую и, на мой взгляд, небезосновательно выделяют ориентацию и качество гуманитарного образования, доступного широким кругам читающей публики.

Проблема имеет две стороны. Во-первых, советская и постсоветская школа (как и массовая школа во многих западных странах) предлагает в сравнении с математикой и естественными науками достаточно ограниченное образование в гуманитарной области. Историческое образование поверхностно и во многих системах школьного образования не предусматривает ни взаимодействия с источниками наших знаний в сколь-нибудь значительном объеме, ни самостоятельного анализа; преподавание современных языков обычно ориентировано на разговорные навыки, а преподавание древних, будь то в школе или в университете, является редкостью; получить представление о лингвистике, философии или религиоведении на школьном уровне невозможно; ни традиционное школьное сочинение, ни программа ЕГЭ (говоря здесь о советской и постсоветской школе) не дают подготовки к филологическому анализу текстов, тем более принадлежащих другой эпохе.

Возникает трудно преодолимый разрыв между представлениями ученых и представлениями публики о том, чем они заняты, особенно острый в случае редких дисциплин, таких как изучение античности¹. Методика работы А.Т. Фоменко, прово-

¹ См. точку зрения филолога-классика, посвятившего многочисленные публикации истории дореволюционного классического образования: Любжин А.И. Филология и школа <<http://www.russ.ru/>

дившего статистические сопоставления царствований римских императоров на основании учебников вперемешку с переводами отдельных нарративных источников, едва ли стала бы бестселлером, если бы представление о том, как именно работает специалист по истории древности, не основывалось у покупателей лишь на смутных воспоминаниях о рабовладельческой формации из учебника Ф.П. Коровкина или об анекдотах о консульстве коня Калигулы, преподносимых как факты в современных учебниках [Фоменко 1990: 192–220]¹. Никто, знакомый с латынью или древнегреческим хотя бы на уровне двух-трех изречений, не принял бы всерьез его попытки рассматривать античную ономастику «без огласовок».

Если в случае математики или физики даже те, кто успешно забыл школьную программу, сохраняют представление о том, что для занятия ими на серьезном уровне необходимы специальные навыки, то гуманитарные науки зачастую кажутся доступными для любого, в особенности если он имеет подготовку в другой области знания. Еще в 1970-е гг. крупнейший филолог-классик петербургской школы А.И. Доватур в письме к своей ученице Е.А. Миллиор задавался вопросом: «Почему никому не придет в голову объяснять теорию чисел или даже высшую алгебру тем, кто не знает геометрии Евклида и не умеет решать уравнений, а в наших науках, как, впрочем, и в биологических, считается возможным рассуждать об очень сложных вопросах перед слушателями, не знающими, кто был раньше — Аристофан или Менандр (или различать самые распространенные виды птиц)?» (цит. по: [Фролов 2006: 539]). Распространенное мнение, что многие гуманитарные программы университетского уровня не требуют особенно серьезных усилий в сравнении с естественно-научными или техническими, укрепляет представление о низком входном пороге в исторические и филологические дисциплины².

Во-вторых, благодатную среду для паранаучных публикаций создает закрепляемое школьной программой, ориентированной обычно на воспитание сиюминутно понятого патриотиз-

pole/Filologiya-i-shkola> (не вдаваясь в понимание автором задач научной филологии, едва ли можно спорить с тезисом, что массовая школа к взаимодействию с серьезной филологической работой не готовит).

¹ Успех книг Фоменко породил целую индустрию опровержений, продающихся не хуже его собственных работ. Исчерпывающий анализ его методики с точки зрения историка древности дан уже в работах: [Голубцова, Смирин 1982; Голубцова, Кошеленко 1982]. О коне Калигулы см. учебник (рекомендован Институтом всеобщей истории РАН): [Уколова, Маринович 2012].

² Ср. мнение известного российского антиковеда: «Никакой Болонский процесс не привел к тому, чтобы врачей или инженеров обучали по три года. Все шесть лет! А историка в Кембридже хватит для “компетентности” бакалавра трех лет» (Брагинская Н.В. Своя корысть <<http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Svoya-koryst>>).

ма, распространенное представление, что гуманитарная наука, и в особенности история, — служанка идеологии, и, может быть, даже должна быть ею.

Проблема эта совершенно не специфична для России, как показывает, например, замечательная работа о школьном преподавании истории французского исследователя школы «Анналов» Марка Ферро [Ferro 1983] (рус. пер.: [Ферро 1992]), и постановка даже вполне серьезных исторических трудов на службу своеобразно понятой славе родины имеет, разумеется, давнюю традицию, восходящую еще к античности. По свидетельству позднеантичного историка Орозия (Hist. VII. 10. 4 = Tac. Hist. fr. 6 Wellesley), Тацит в несохранившемся повествовании о войнах императора Домициана (81–96 н.э.) с даками прямым текстом признавался, что умалчивает о римских потерях (по примеру позднеереспубликанского историка Саллюстия «и многих других авторов»), а экскурс Тита Ливия (IX. 18–19) о том, что случилось бы, вторгнись Александр Македонский в Италию, как кажется, положил начало почтенной традиции «альтернативной истории» («что было бы, если...»). Недоверие к профессиональной критике как идеологически мотивированной или вызванной корпоративной солидарностью в итоге часто парадоксальным образом сочетается с желанием найти в исторических публикациях, особенно адресованных массовому читателю, подтверждение собственной национальной, религиозной или политической идентичности.

Поскольку речь идет об истории античности, по очевидной причине периферийности античного периода для истории России, российскому читателю в основном знакомы публикации, псевдонаучная природа которых бросается в глаза не только специалисту (хотя их успех и демонстрирует масштаб массового незнания): учебник А.П. Богданова, на полном серьезе знакомивший российских школьников с перепиской Александра Македонского со славянскими князьями Велико-саном, Асаном и Авесханом, чья доблесть заставила его удержаться от вторжения [Богданов 1996: 28], упомянутая выше «новая хронология» А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского, провозглашающая Россию по сути древнейшей страной в мире, работы Г.С. Гриневича об этрусской письменности как праславянской [Гриневич 1993].

Однако в странах, для которых античное прошлое составляет важный элемент национального наследия и спекуляции на его предмет могут иметь как политический, так и (в наши дни) коммерческий эффект, проблема носит куда более сложный характер и может быть прослежена до времени широкого рас-

пространения классического образования. Рассуждения более чем компетентного историка античности Гельмута Берве, внесшего основополагающий вклад в просопографию соратников Александра Македонского, о «законе дорийского мужества», греках как «нордической расе» и «вождеском принципе» в греческой истории, опубликованные в нацистский период его жизни, были куда более опасным примером «паранауки», чем работы Фоменко, не только потому, что служили бесчеловечному режиму, но и потому, что для опровержения его интерпретаций Фукидида нужно было владеть материалом на сопоставимом уровне¹.

Другой пример, иллюстрирующий то же явление на не столь давнем и далеко не столь морально предосудительном материале: за последние полтора десятилетия раскопки видного итальянского археолога, ныне главы археологической службы города Рима Андреа Карандини и его учеников «обнаружили» на Палатинском холме в Риме в числе прочего «дворец Ромула», не говоря уже о многих жилищах персонажей более документированного периода римской истории (в первую очередь в их работах предлагается подробнейший археологический контекст для так называемого «дома Августа») [Carandini 2003; 2006; Carandini, Bruno 2008; Carandini 2011]. Работы эти, сделавшие сенсацию в популярной прессе, мягко говоря, крайне спорны с точки зрения научного метода, даже если оставить в стороне идентификацию жилища легендарного Ромула, можно вполне уверенно утверждать, что строение, демонстрируемое туристам на Палатине как «дом Августа», не соответствует имеющимся у нас из других источников сведениям о жилище первого римского императора².

Я не подвергаю сомнению личную порядочность итальянских археологов, но то, что подобные работы, основанные скорее на поэтическом воображении, чем собственно на результатах безусловно интересных раскопок, не отвергаются научным сообществом (не в последнюю очередь благодаря статусу их авторов) и публикуются академическими издательствами даже за пределами Италии, ставит нас перед серьезной проблемой: грань между «серьезными исследованиями» (предположительно заслуживающими общественной и государственной поддержки и финансирования) и «паранаукой» размывается до неразличимости, и смешно было бы ожидать, что читающая публика проведет это различие за нас.

¹ См. о нем: [Rebenich 2001].

² Исчерпывающую критику гипотез Карандини см.: [Wiseman 2001; 2009; 2012a; 2012b]. Положительный отзыв: [Lefkowitz 2012].

Приведу заключительный пример. В начале 2011 г. сенсацию в прессе произвело сообщение о находке в пещере на севере Иордании собрания трудно читаемых металлических кодексов, отчасти из свинца, отчасти из меди на свинцовых кольцах, с изображениями, среди которых была сцена распятия на фоне городских стен, и греческим текстом. Практически сразу появились предположения, что это может быть самое раннее свидетельство о жизни Иисуса, едва ли не 30-х гг. н.э. К сожалению, по прошествии всего нескольких дней оксфордский эпиграфист Питер Тонеманн показал, что текст по крайней мере одного из кодексов является безусловной подделкой последних десятилетий: он оказался безграмотно (с путаницей между «альфой» и «лямбдой») переписанной много раз (в некоторых случаях задом наперед) второй строкой давно опубликованной надгробной надписи, последние 50 лет выставленной в экспозиции музея в Аммане. Строка вырвана из середины предложения и не имеет в таком виде никакого смысла. Археологическая служба Израиля также заклеила их как подделки, выполненные на основе свинцовых саркофагов, резонно обратив внимание на металлургические характеристики «свинцовых книг»¹.

Казалось бы, конец истории и, как отмечает сам П. Тонеманн в газетной заметке, убедительный пример необходимости поддержки гуманитарных наук. Но не все так просто: сенсационная атмосфера, созданная вокруг так называемого «Евангелия от Иуды», в том числе и публикациями специалистов по библеистике и религиозной истории римского Ближнего Востока, — это только один пример благодатной для «паранауки» среды, в которой появились эти подделки². Характерно, что редакционная статья в почтенном журнале по изучению древнего Леванта призывает к дальнейшему исследованию свинцовых кодексов, прежде чем они будут признаны подделками, — интерес к этой конкретной «паранаучной» публикации едва ли исчерпан [Davies 2011].

Библиография

- Богданов А.П. История России до Петровских времен. М.: Дрофа, 1996.
- Голубцова Е.С., Кошеленко Г.А. История древнего мира и «новые методики» // Вестник древней истории. 1982. № 8. С. 70–82.
- Голубцова Е.С., Смирин В.М. О попытке применения «Новых методик статистического анализа» к материалу древней истории // Вестник древней истории. 1982. № 1. С. 171–195.

¹ Текст надписи в музее Аммана: [Gatier 1986: No. 118], см.: [Thonemann 2011]. Исходная переписка опубликована в Интернете: <http://paleojudaica.blogspot.co.uk/2011_03_27_archive.html>.

² Краткий и трезвый обзор исторического значения «Евангелия от Иуды»: [Frankfurter 2007].

- Гриневиц Г.С.* Праславянская письменность: Результаты дешифровки. М.: Летопись, 1993.
- Данилевский И.Н.* Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII вв.). М.: Аспект-Пресс, 1999.
- Кругляков Э.П.* Штрихи к портрету «академика» Акимова // В защиту науки. 2008. Бюл. № 3. С. 77–82.
- Уколова В.И., Маринович Л.П.* История древнего мира: Учебник для общеобразовательных учреждений / Под ред. А.О. Чубарьяна. М.: Просвещение, 2012.
- Ферро М.* Как рассказывают историю детям в разных странах мира. М.: Высшая школа, 1992.
- Фоменко А.Т.* Методы статистического анализа нарративных текстов и приложения к хронологии. (Распознавание и датировка древних зависимых текстов, статистическая древняя хронология, статистика древних астрономических сообщений). М.: Изд-во МГУ, 1990. С. 192–220.
- Фролов Э.Д.* Русская наука об античности: Историографические очерки. 2-е изд. СПб.: Гуманитарная академия, 2006.
- Carandini A.* La nascita di Roma. Dei, Lari, eroi e uomini all'alba di una civiltà. Torino: Einaudi, 2003.
- Carandini A.* Remo e Romolo: Dai rioni dei Quiriti alla città dei Romani (775/750–700/675 a.C. circa). Torino: Einaudi, 2006.
- Carandini A.* Rome: Day One. Princeton: Princeton University Press, 2011.
- Carandini A., Bruno D.* La casa di Augusto: Dai "Lupercalia" al Natale. Bari: Laterza, 2008.
- Davies P.* Mysterious Books from Jordan // Palestine Exploration Quarterly. 2011. Vol. 143. No. 2. P. 79–86.
- Ferro M.* Comment on raconte l'histoire aux enfants à travers le monde. P.: Petite bibliothèque Payot, 1983.
- Frankfurter D.* An Historian's View of the "Gospel of Judas" // Near Eastern Archaeology. 2007. Vol. 70. No. 3. P. 174–177.
- Gatier P.-L.* Inscriptions grecques et latines de Syrie XXI: Inscriptions de la Jordanie, 2: Region centrale. Paris: Librairie orientaliste Paul Geuthner, 1986.
- Lefkowitz J.B.* Rev. of A. Carandini, Rome: Day One (Princeton 2011) // Bryn Mawr Classical Review. 2012.03.39 <<http://bmcr.brynmawr.edu/2012/2012-03-39.html>>.
- Rebenich S.* Alte Geschichte in Demokratie und Diktatur: Der Fall Helmut Berve // Chiron: Mitteilungen der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts. 2001. Vol. 31. S. 457–496.
- Thonemann P.J.* The Messiah Codex Decoded // Times Literary Supplement. 2011, 6 Apr. <http://entertainment.timesonline.co.uk/tol/arts_and_entertainment/the_tls/article7173961.ece>.
- Wiseman T.P.* Reading Carandini // Journal of Roman Studies. 2001. Vol. 91. P. 182–193.

- Wiseman T.P.* The House of Augustus and the Lupercal // *Journal of Roman Archaeology*. 2009. Vol. 22. No. 2. P. 527–545.
- Wiseman T.P.* Roma quadrata, Archaic Huts, the House of Augustus, and the Orientation of Palatine Apollo // *Journal of Roman Archaeology*. Vol. 25. No. 1. 2012a. P. 371–387.
- Wiseman T.P.* Where Did They Live (e.g., Cicero, Octavius, Augustus)? // *Journal of Roman Archaeology*. 2012b. Vol. 25. No. 2. P. 656–672.

МИХАИЛ КРОМ

О псевдонауке вокруг нас... и среди нас

Редколлегия «Антропологического форума» затронула важную и актуальную проблему. Действительно, квазинаучные тексты окружают нас со всех сторон: на прилавках книжных магазинов дилетантские опусы на исторические темы лежат рядом с академическими трудами, в Интернете соотношение научных и ненаучных текстов по истории, возможно, уже сейчас складывается не в пользу первых. Но проблема не ограничивается лишь сферой околonaучного знания, гораздо тревожнее, на мой взгляд, тот факт, что с имитацией науки все чаще приходится сталкиваться внутри самого научного сообщества. Примером такой имитации можно считать знакомые многим из нас штампы, «кочующие» из одного автореферата диссертации в другой: к ним относятся, в частности, пресловутые «принципы историзма и объективности», «системный метод» и «комплексный подход».

Душой науки является исследование, и когда собственно научный поиск подменяется внешними атрибутами — специальными терминами, цитатами, ссылками, обширной библиографией, мы имеем дело, по существу, с мертвой оболочкой науки, формой, лишенной содержания.

Михаил Маркович Кром
Европейский университет
в Санкт-Петербурге
krom@eu.spb.ru

К сожалению, происходящая на наших глазах бюрократизация вузовского образования нередко способствует подобному

торжеству формы над содержанием. Недавно коллега из Пермского университета рассказал мне о том, что чиновники от образования требуют указания на «междисциплинарность» в программе каждого учебного курса, тем самым сводя к трюизму некогда благое начинание отдельных ученых-энтузиастов.

Напомнив об опасных тенденциях, наблюдаемых внутри нашего профессионального сообщества, я перейду теперь к характеристике тех форм околонаучного знания, о которых идет речь в сформулированных редколлегией «АФ» вопросах и с которыми приходится конкурировать ученым-гуманитариям, когда они пытаются обращаться к более широкой аудитории.

1

Почему область гуманитарных знаний привлекает дилетантов больше, чем точные и естественные науки? Лежащий на поверхности ответ сводится к тому, что гуманитарные дисциплины пользуются обычным языком, не прибегая к математическому аппарату, и поэтому пороговый образовательный уровень здесь оказывается ниже, чем в точных науках. Однако предложенное объяснение недостаточно, на мой взгляд, для понимания широкой распространенности и, я бы добавил, неискоренимости квазинаучных или паранаучных представлений. Напомню о неистребимости такого явления, как целительство, или народная медицина, с которым много веков соперничает (с переменным успехом) научная медицина. Другой пример — вера многих людей в НЛО и иные паранаучные явления, вера, которую не могут победить физики и астрономы, вооруженные научными теориями и сложными современными приборами.

Рискну поэтому предположить, что существуют области знания, настолько важные и интересные для обычных людей, что они не готовы доверить их исключительному ведению специалистов. Та область знания, которой я профессионально занимаюсь, — история — составляет основу идентичности этнических и социальных групп, а также целых государств, и поэтому прошлое никогда не станет уделом одних только профессиональных историков.

Помимо этих общих соображений нужно также учесть специфику переживаемого нами момента. Интернет многократно увеличил объем доступной информации при фактическом отсутствии контроля над ее достоверностью. Следует учесть также снижение престижа ученого звания в современной России по сравнению с советским временем. Поэтому историк, выступая перед массовой аудиторией, вряд ли сможет привлечь ее на свою сторону, апеллируя к авторитету науки, скорее успех будет зависеть от известности этого конкретного ученого и его искусства владения словом.

2

Насколько ученый рискует, выходя за рамки своей специализации и вступая в предметное поле другой дисциплины? Неужели в этом случае от него можно ждать только непрофессиональных и даже лженаучных текстов? Казалось бы, печально известный «казус Фоменко и Носовского» склоняет именно к такому ответу на поставленный редакцией «АФ» вопрос. Однако мне известны и случаи вполне успешной работы математиков в области истории. Так, доктор физико-математических наук Л.А. Бассальго давно сотрудничает с известным археологом академиком В.Л. Яниным в изучении исторической географии Новгородской земли [Бассальго, Янин 1998], и никаких сомнений в научной ценности этих исследований до сих пор ни у кого не возникало.

Очевидно, дело вовсе не в том, из какой области знаний ученый приходит, например, в историю, а в том, готов ли он усвоить и принять сложившиеся в этой новой для себя дисциплине нормы и практики научной работы.

Мы живем в эпоху междисциплинарности, когда контакты и обмен идеями между учеными разных специальностей резко возросли. Однако междисциплинарность вовсе не означает стирания или размывания границ между науками: как показало обсуждение этого вопроса на недавней конференции в Москве, границы сохраняются (и добавлю: «охраняются»!) даже между соседними и близкими дисциплинами: историей и антропологией, социологией и историей [Кром 2012; Савельева 2012]. Неудивительно поэтому, что бесцеремонное вторжение на «территорию» другой «суверенной» дисциплины и открытое отрицание свойственных ей традиций и приемов исследования (что, собственно, и продемонстрировали А.Т. Фоменко и Г.В. Носовский) воспринимается соответствующим научным сообществом как вопиющая бестактность и проявление лженауки.

3

Псевдонаучные «откровения» довольно легко распознать по ряду признаков. Прежде всего для них характерно нигилистическое отношение к существующей научной традиции, в том числе традиции изучения той или иной конкретной проблемы. Работы по обсуждаемой теме в подобной литературе всегда приводятся выборочно, причем их авторы в соответствии с принципом «партийности» (т.е. этнонациональной, конфессиональной, политической и т.п. ангажированности) делятся сочинителем на «своих», придерживающихся «правильной» точки зрения на предмет спора, и «чужих», распространяющих «вредные» теории и концепции. Так, по логике русских националистов, взгляды немецких историков XVIII в. по «норманнскому вопросу» были предвзятыми и ошибочными уже в силу

происхождения этих ученых. Зато по той же «железной» логике русскому гению Ломоносову патриотическое чувство помогло обнаружить настоящую родину варягов...

Еще одна примета подобных квазинаучных сочинений — претензия на открытие, налет сенсационности (сродни низкопробной журналистике). Порой, для того чтобы объяснить причины долгого господства «ложных» воззрений в науке, авторы «сенсаций» прибегают к очередной «теории заговора» (такого рода аргументацию использовали, например, А.Т. Фоменко и Г.В. Носовский, утверждая, что чуть ли не все источники, проливающие свет на историю Древней Руси, были уничтожены в правление первых царей из династии Романовых, см.: [Носовский, Фоменко 1996: 37]).

В борьбе за умы читателей авторы сомнительных теорий нередко апеллируют к «простоте». Возникает характерная для мифа оппозиция: высоколобые профессора, которые, несмотря на всю свою ученость, не смогли (или не захотели?) понять суть дела, и не имеющий ученой степени, но наделенный большим здравым смыслом человек (вроде сатирика М.Н. Задорнова), который при помощи самых простых средств (и, в частности, «народной этимологии») легко разгадывает самые головоломные загадки древней истории руссов...

Псевдонаука «решает» все проблемы не только легко и быстро, но и окончательно: привычные для нас оговорки, что, мол, такое-то свидетельство допускает разные интерпретации или что для определенных выводов не хватает данных, совершенно несвойственны подобным сочинениям.

Несвойственно им и внимание к эмпирическому материалу, тщательное изучение источников (презрительно названное Л.Н. Гумилевым «мелочеведением»: [Гумилев 1992: 12]). Два-три примера, почерпнутых из сомнительных «анналов», а то и из вторых рук, кажутся подобным ниспровергателям устоев достаточным доказательством их теорий. Слабость аргументации — ахиллесова пята большинства псевдонаучных концепций. Впрочем, их авторы не замечают этой слабости, им невдомек, что в настоящей науке, как удачно заметил историк А.А. Зимин, «спорят не тезисы, а аргументы» [Зимин 1969: 442].

4

Я рассматриваю упражнения дилетантов в области истории как неизбежное зло, и не каждый такой опус (а им несть числа!) заслуживает опровержения со стороны специалистов. Но когда крайне сомнительные в научном отношении исторические гипотезы высказывают ученые, пусть даже, как А.Т. Фоменко и Г.В. Носовский, имеющие заслуги в другой области знаний,

профессиональные историки обязаны высказаться и дать принципиальную оценку их построениям (обстоятельный критический разбор «новой хронологии» А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского см. в сборнике: [История и антиистория 2001]). Лучшим же «противоядием» от всякого рода псевдонаучных спекуляций служат популярные лекции ведущих специалистов в соответствующей области. Прекрасным образцом такого просветительского жанра являются, например, лекции академиков В.Л. Янина и А.А. Зализняка по истории и культуре Древней Руси, доступные всем пользователям Интернета.

Библиография

- Бассалыго Л.А., Янин В.Л.* Историко-географический обзор новгородско-литовской границы // Янин В.Л. Новгород и Литва: пограничные ситуации XIII–XV веков. М.: Изд-во МГУ, 1998. С. 103–214.
- Гумилев Л.Н.* В поисках вымышленного царства. М.: Т-во «Клышников, Комаров и Ко»; Лорис, 1992.
- Зимин А.А.* Трудные вопросы методики источниковедения Древней Руси // Источниковедение. Теоретические и методические проблемы. М.: Наука, 1969. С. 427–449.
- История и антиистория: критика «новой хронологии» академика А.Т. Фоменко. Анализ ответа А.Т. Фоменко. 2-е изд., доп. М.: Языки славянской культуры, 2001.
- Кром М. М.* Междисциплинарность и возникновение новых направлений в исторической науке (на примере исторической антропологии) // «Стены и мосты»: междисциплинарные подходы в исторических исследованиях: Мат-лы междунар. науч. конф., Москва, РГГУ, 13–14 июня 2012 г. / Отв. ред. Г.Г. Ершова, Е.А. Долгова. М.: Совпадение, 2012. С. 40–49.
- Носовский Г.В., Фоменко А.Т.* Новая хронология и концепция древней истории Руси, Англии и Рима. Факты. Статистика. Гипотезы. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: УНЦДО МГУ, 1996. Т. 1.
- Савельева И.М.* Историческая социология и социальная история в XXI веке: мосты и переправы // «Стены и мосты»: междисциплинарные подходы в исторических исследованиях: Мат-лы междунар. науч. конф., Москва, РГГУ, 13–14 июня 2012 г. / Отв. ред. Г.Г. Ершова, Е.А. Долгова. М.: Совпадение, 2012. С. 118–126.

МАРЛЕН ЛАРЮЭЛЬ

1

Некоторые области знания очень специализированы и как будто не имеют никакого влияния в мире за пределами их узко ограниченной сферы применения. Другие, напротив, обращаются к широкой аудитории, поскольку принадлежат к тем сферам, которые можно назвать *res publica* знания: большинство гуманитарных наук играют определенную роль в жизни общества, потому что темы их исследований имеют национальное значение. Если история или лингвистика входят в «контрольный список» ключевых элементов национальной идентичности и в той или иной степени выступают в качестве государственных атрибутов, то они тоже становятся частью публичных дискуссий. В таком случае граница между любителями и профессионалами теряет четкость: любой член гражданского общества может с полным правом вынести любую тему на публичное обсуждение, если он считает, что ту или иную проблему необходимо отвергнуть, изменить, оценить или не придавать ей преувеличенного значения. Можно только радоваться, когда непрофессионалы обсуждают проблемы общего характера, потому что, если бы мы просто оставили такие дискуссии экспертам и политикам, это повредило бы ценностям активного гражданского участия. Таким образом, главный вопрос не в том, что любители делают публичные высказывания, а скорее в том, в каком поле находится их дискурс.

2

Нужно признать, что четкой границы между «наукой» и «паранаукой» не существует: процесс популяризации — необходимая часть научной дискуссии, поскольку наука должна быть публичной, должна уметь обращаться ко всему обществу в целом. Между тем часто именно в процессе популяризации происходит смещение от «науки» к «паранауке». Необходим и диалог между дисциплинами, который требует наведения

Марлен Ларюэль
(*Marlène Laruelle*)
Университет
Джорджа Вашингтона,
Вашингтон, США
laruelle@gwu.edu

мостов между разными методами. Непрофессиональный текст необязательно будет псевдонаучным, если автор готов признать его тем, чем он является, и не пытается создавать иллюзии, если он опирается на научные работы, которые стремится перевести на более «упрощенный» язык, или основывается на достижениях других дисциплин, признавая при этом, что его собственный метод отличается от принятых в науке. Таким образом, главная проблема определения псевдонауки видится мне не в ее содержании и не в установлении границ, но в честности автора, который обязан четко определить свое дискуссионное поле.

3

Мне кажется, этот вопрос сформулирован лукаво. «Часто бывает» у кого? У исследователей? Да, потому что исследователь знает методы своей дисциплины и способы легитимации научного знания, которыми пользуется он или его коллеги. Но я не думаю, что можно утверждать, будто любой читатель, не имеющий специального образования, может сразу распознать паранаучный текст. Для начала, большинство читателей вообще не знают, что такое научные тексты, и никогда их не читали, так что они не могут различить эти два жанра. Даже студенты-бакалавры, которые не делают собственных исследований, а только «потребляют» учебники, необязательно способны заметить качественную разницу между ними. Более того, читатель может специализироваться в какой-нибудь одной области, например технической, и если он захочет почитать что-то по другой теме, он тоже может не увидеть разницы. В этом и заключается главная проблема этой дискуссии: единственный, кто может обоснованно идентифицировать паранаучный текст, это специалист, но возможностей передать эту информацию публике у него немного. Я думаю, что в этой дискуссии важно избегать точки зрения, с которой что-то кажется «очевидным» или вроде бы у кого-то «часто бывает», иначе профессионалы забудут, что на самом деле об их подходе знают немногие.

Как исследователь, я быстро распознаю паранаучный текст по двум главным признакам:

1. Не отдается должное классическим методам верификации (система ссылок, формулировка исследовательских гипотез и видов доказательств, признание ограничений или недостатков избранного доказательства).
2. Налицо вопиющее смешение дисциплин, часто сопровождаемое критикой точек зрения, которые до сих пор пользовались уважением. К обещаниям великих открытий или революций следует относиться осторожно.

4

Я различаю два типа паранауки. За одним стоят ясно различимые политические цели, как, например, в случае с теориями «нигилистов». Я считаю, что здесь профессионалы должны проявлять активность: важно публично осуждать такие фальсификации, чтобы не позволить этим дискурсам получить легитимность и не допустить их широкого распространения. Но я не думаю, что в этих случаях уместно вмешательство политических властей, которые могут объявить, что считается «истинной» историей, а что «ложной», а то и начать уголовное преследование тех, кто не согласен с утвержденной государством версией истории. Такие шаги опасны, и политическим властям не следует отказываться от контактов с историками. Дискуссия именно такого рода вызвала большое возбуждение, например, во Франции, когда французский парламент обсуждал законопроект о признании геноцида армян и уголовном преследовании тех, кто его отрицает.

Второй тип паранауки не имеет четких политических целей и связан скорее с дилетантизмом или публицистикой. Я думаю, что такого рода тексты профессионалы могут игнорировать, потому что они принадлежат другому дискурсивному полю и отвечать им как равным означало бы приписать им соответствующий статус. В то же время это явление само по себе могло бы стать интересной темой социологического исследования, потому что оно отражает более глобальные культурные процессы. Примером такой паранауки может быть «новая хронология» Фоменко и его соавторов в России.

Пер. с англ. Александры Касаткиной

РОМАН ЛЕЙБОВ

Главная причина успешности паранауки проста: здравому смыслу гораздо больше лет, чем научной картине мира. К тому, что Земля вращается вокруг Солнца, он, здравый смысл, кажется, уже притерпелся, но вот привыкнуть к тому, что тела разной массы в одной среде падают с одинаковой скоростью, покуда удалось не всем. Я уж не говорю о медицинских воззрениях наших современников...

При этом важное свойство всех мнимонаучных теорий — конспирологическое мышление их адептов — как ни странно, объединя-

Роман Григорьевич Лейбов
Куратор сайта Ruthenia.ru /
Тартуский университет,
Эстония
roman.leibov@gmail.com

ет паранауку с научным методом, велящим не принимать ничего на веру. В опытных науках сомневающемуся можно продемонстрировать доказательство, но что продемонстрировать сторонникам «новой хронологии»? Они не верят ни в глоттохронологию, ни в радиоуглеродную датировку. Они знают одно: верить нельзя никому, понятную и простую спасительную правду скрывают злодеи-историки (биологи, физики, медики, специалисты по сравнительной метрике...), и лишь благодаря героическому гению имярек она открыта ныне широким кругам общественности.

В математике любительская паранаука в основном удел одиноких *безумцев*, до сих пор доказывающих возможность (и необходимость) деления на ноль, в науках естественных к ним добавляются идеологические и практические *жулики* (от опровергателей эволюции до изобретателей наноторсионных фильтров, бесперебойно и в промышленных количествах производящих живую воду), а в науках гуманитарных к безумцам и жуликам присоединяются полчища энтузиастических *невесел*. Все это, впрочем, может совмещаться, особенно если речь идет об уфологии и прочих областях мнимого знания, трактующих мнимые объекты.

Что касается областей, близких мне, то здесь расцвет паранаук объясняется и социокультурными факторами, и простым недостатком образования. На протяжении многих десятков лет преподавание лингвистики в школе сводилось к правописанию шипящих с «и», а школьная литература в лучшем случае была рассказом о биографических обстоятельствах и чтением текстов, поэтому усредненный журналист, транслирующий сегодня «версии» тайны смерти Пушкина или происхождения русского народа прямо от скифских эльфов, внутренне готов сам поверить и в этимологии Задорнова, и в хронологию Фоменко. Когда к трансляции паранаучных теорий присоединяются традиционные СМИ и современные информационные каналы, процесс приобретает лавинообразный характер.

Замечательно тут вот что: соперничающие с наукой «теории» не конкурируют друг с другом — параноидальная логика, во-первых, притягивает друг к другу представителей разных паранаук и, во-вторых, позволяет примирить внутри одной паранауки несовместимые (с точки зрения логики формальной) концепции.

Тут, кстати, возникает печальная тема РАЕН: насколько я понимаю, в области естественных наук эта общественная организация играет роль образования, обслуживающего паранауку, однако в списке академиков РАЕН мы встречаем имена замечательных ученых, не только гуманитариев, кстати. Было бы

гораздо удобнее (и с моральной точки зрения правильное), если бы была соблюдена чистота жанра.

У паралингвистики и параистории есть своя (и очень интересная) история, она тесно связана с социально-политической историей Нового времени. Все современные изводы альтернативной национальной истории / хронологии в конечном итоге пародийно повторяют опыты предромантических и романтических идеологов нового европейского национализма. Не будем забывать и об общественных паранауках (в конспирологическом изводе они пересекаются с «новой хронологией»): тоже интереснейший объект, давно уже привлекающий историков.

Я бы, однако, предпочел, чтобы история паранауки пресеклась или, по крайней мере, несколько замедлила свое бурное развитие. Она занимает в общественном сознании чужое место, как Тень у Шварца, но прежде всего она бесконечно пошла. Единственный доступный нам способ борьбы с ней на вверенном нам участке реальности — создание и внедрение современных школьных программ по гуманитарным и общественным дисциплинам. Лингвистика, по-моему, должна преподаваться как базовая дисциплина (на этапе старшей школы), а история — быть рассказом не только о событиях, но и об истории рассказов о событиях.

Что касается грани между паранаукой и интердисциплинарностью, то набег ученых в смежные области или даже выходы далеко за границы привычных дисциплин — прямое следствие человеческой любознательности и системности научной картины мира. Никаких гарантий тут нет: говорят, создатель «новой хронологии» — выдающийся математик, это не делает его параисторию менее отвратительной. Но это, по-моему, скорее исключение. Гораздо чаще мне приходилось встречать ученых, не связанных с гуманитарными науками профессионально, но проявляющих к ним (а не только к их объектам!) искренний и уважительный интерес. Их наблюдения часто отличаются точностью и оригинальностью, а широта кругозора не может не поражать.

АННА ПАВЛОВА, АЛЕКСАНДР ПРОЖИЛОВ

От лингвистики к псевдолингвистике

Гов[орил] с Тютчевым, с которым мне не говорится. Остро сравнил он наших ученых с дикими, кои бросаются на вещи, выброшенные к ним кораблекрушением (М.П. Погодин).

На днях одна студентка в перерыве между занятиями спросила: «А разве рассуждения о национальном характере в научной работе допустимы? Я вот тут, занимаясь темой “Обращения”, прочитала одну статью в Интернете. Там написано, что ласкательные суффиксы — это выражение русского национального характера. Я не понимаю: разве можно такое в лингвистической работе писать? Это же что-то из области клише?» Студентка учится в Германии, поэтому преподаватель, отвечая на вопрос, может не кривя душой сказать: «Да, вы правы, никакого отношения к науке эти рассуждения не имеют». И объяснить ей природу этих — принявших массовый характер в современных российских лингвистических работах — явлений. То есть рассказать ей следующее.

В постперестроечной России на стыке языкознания и культурологии сложилась новая дисциплина: лингвокультурология. В основу этой дисциплины легло представление о том, что национальный язык — источник сведений о культуре и мышлении («менталитете») народа, разговаривающего на этом языке. Согласно лингвокультурологии, национальный язык воплощает в себе так называемую языковую картину мира — исторически сложившуюся в обыденном сознании языкового коллектива совокупность представлений о мире, определенный способ концептуализации действительности. Иными словами, в мировидении лингвокультуролога целый народ разговаривает на едином национальном языке, который диктует этому народу, как ему мыслить, а также предопределяет модели его поведения.

Анна Владимировна Павлова

Университет Майнца,
Германия
anna.pavlova@gmx.de

Александр Владимирович

Прожилов
Хакасский государственный
университет им. Н.Ф. Катанова,
Абакан
prosh-p@yandex.ru

Лингвокультурология сложилась и выделилась в отдельную лингвистическую дисциплину на теоретическом основании гипотезы лингвистической относительности (или неогумбольдтианства, или гипотезы Сепира-Уорфа): каждый язык навязывает тому или иному народу некоторое количество обязательных представлений о мире («языковую картину мира»), поскольку выйти за границы своего языка при познании природы нельзя. Язык направляет мысль и не только фиксирует, но и определяет (детерминирует) культуру его носителей. Гипотеза лингвистической относительности — форма солипсизма: нам ничего не дано знать о реальности, поскольку между нашим сознанием и реальностью стоит язык.

В отношении к гипотезе Сепира-Уорфа лингвокультурологи не единодушны. Иные считают, что помимо языковой картины мира имеется еще когнитивная картина мира и что последняя шире языковой, поскольку некоторые понятия не имеют лексемных выражений. Примечательно, что допущение возможности концептуализации действительности вне слов гипотезе Сепира-Уорфа в корне противоречит, но ее адепты этого не замечают. Другая крайность представлена точкой зрения, что язык не только определяет пути познания и формирует культуру, но и предопределяет эмоциональную сферу: человек испытывает ту эмоцию, которую ему подсказывает родной язык¹. Свободы нет, следовательно, не только в мыслях, но и в чувствах, последние лингвоспецифичны и одновременно этноспецифичны, так как между языком и этносом лингвокультурология ставит знак равенства. Всем мировидением и мироощущением человека управляет его язык-демиург.

Аргументация приверженцев гипотезы Сепира-Уорфа кратко изложена Стивеном Пинкером: «Апачи говорят по-другому — стало быть, они и мыслят по-другому. Откуда мы знаем, что они мыслят по-другому? Да вы послушайте, как они говорят!» [Пинкер 2004: 50]. Убеждение, что мышление полностью детерминировано языком, т.е. равно языку и языком исчерпывается, логически влечет за собой вывод о принципиальной непохожести способов мышления и мировидения народов, разговаривающих на разных языках. При последовательном отношении к этому принципу придется отрицать существование таких явлений, как переводимость, билингвизм и синони-

¹ Например: «В стандартных эмоциональных ситуациях люди данной языковой общности испытывают и выражают принципиально одинаковые эмоции. Каждый индивид, естественно, варьирует проявление типизированной эмоции, подгоняя ее под то или иное слово (знак этой эмоции) в зависимости от своего индивидуального опыта, но редко выходит за грани социального (обобщенного) опыта» [Шаховский 2009: 35]. Эмоции приравниваются здесь к их обозначениям. Или: «Русский язык даже подсказывает человеку именно такие чувства» (речь идет о глаголе *соскучиться*) [Левонтина 1997].

мия, поскольку если языковые единицы идентичны мыслительным, то каждый конкретный способ (форма) выражения уникален и несет в себе специфическую мысль. Следовательно, сходство между мышлениями различных народов в принципе отсутствует, как отсутствует и способность владения двумя и более языками одновременно: ведь одну и ту же мысль нельзя выразить на двух разных языках. Также неосуществимо выражение одной мысли разными способами посредством одного языка. Как только неогумбольдтианство превращается в исходную теоретическую платформу, слова «называть» или «именовать» замещаются в научном дискурсе словами «воспринимать», «ощущать», «считать» или «мыслить»: немцы употребляют эквивалент выражения *в два часа утра*, а русские о том же времени суток говорят *в два часа ночи* не потому, что это время суток в разных языках **принято** по-разному **именовать**, а потому, что немцы и русские **воспринимают** время суток по-разному. Раз русские о воде, текущей по водопроводным трубам, говорят *горячая вода*, а не *теплая вода*, а немцы или шведы называют то же явление эквивалентами выражения *теплая вода*, значит, русские иначе **ощущают** температуру воды. (Точно по Пинкеру: откуда мы знаем, что иначе? Да вы послушайте, как они говорят!) В языке, таким образом, нет ничего случайного или просто привычного (узуального): в нем все значимо и все содержательно. Этот путь рассуждений приводит нас к неслыханному буквализму и примитивизации семантических толкований. Развивая тот же принцип, нужно было бы прийти к логическому выводу, что раз язык идентичен сознанию и «навязывает человеку определенное видение мира» [Тер-Минасова 2000: 47], то представление о том, что один народ способен понять смысл, вложенный представителями другого народа в любые творения, связанные с идейным, а следовательно, мыслительным и культурным наполнением, требовалось бы отбросить как неверное. Тем не менее вряд ли сегодня найдутся люди, которые усомнятся в том, что представители одного народа способны понять видеоряд, созданный представителями другого народа (например, немой фильм или видеоролик), или пантомиму, или оперу, даже если она исполняется на другом языке. Следовательно, принципы прокламируемого в современной российской лингвистике неогумбольдтианства не выдерживаются и версия неогумбольдтианства, на базе которой развилась российская лингвокультурология, нежесткая и внутренне противоречивая, хотя его представители противоречий в своих воззрениях не видят.

Отождествляя мировидение с культурой, лингвокультурологи оказываются неспособны даже ответить на простейшие вопросы, как мыслят швейцарцы, бельгийцы, каталонцы: какое

у них мировидение — швейцарское, бельгийское, испанское или немецкое / французское / итальянское / каталонское и пр., а в рамках каждого из языков нет ли еще лингвоспецифичности, связанной с диалектальными вариантами соответствующих языков. Такого рода вопросы представителями дисциплины, о которой идет речь, просто игнорируются, так как уже одной только своей постановкой они способны разрушить все теоретическое построение под названием «лингвокультурология».

Вот как московский лингвист И.Б. Левонтина объясняет в интервью «Радио Свобода» влияние языка на национальное мышление и национальное мировидение: «Язык очень сильно влияет на то, как мы воспринимаем мир. <...> Мы по-русски говорим “птичка на дереве”, а по-английски или по-французски надо сказать буквально “в дереве”. Это ведь не просто разница предлогов. Это немножко другая картинка. Мы дерево воспринимаем как совокупность веточек, поверхности. И вот птичка на нем сидит. А английский и французский языки рисуют дерево, как такой шарик, состоящий из веточек, и птичка внутри. А если мы скажем “в дереве”, то будем иметь в виду, например, что она в дупло забралась. И ведь этот пример касается такой простой вещи! Совершенно элементарная ситуация пространственной ориентации» [От А до Я 2006].

Если следовать логике Левонтиной, то ситуацию *ехать на машине* нужно представлять себе в виде картинки: вот машина, а сверху у нее на крыше человек, который **на** ней едет. Аналогичный образ должен возникать в связи с поездом, трамваем или автобусом. Правда, можно сказать и *ехать в автобусе* (*Где сейчас Коля? — Да он как раз едет сейчас в автобусе*), и получается, что мировидение носителя русского языка допускает и тот и другой «фрагмент картины мира»: можно быть не только сверху на автобусе, но и внутри. Еще по-русски можно сказать *ехать поездом* или *автобусом*. Это еще какой-то новый ракурс: творительный падеж. Какой фрагмент картины мира стоит за ним? Немцы говорят (дословно) *ехать с машиной* (*mit dem Auto fahren*), т.е. машина едет сама по себе, а человек едет рядом с ней. Верящих в этот подход к буквальному и прямому совмещению языковых средств с визуальными (а также тактильными, зрительными, вкусовыми) ощущениями, с пространственными или причинно-следственными представлениями носителей разных языков можно пригласить проделать эксперимент: попросить трех- или четырехлетних русских детей нарисовать ситуацию *ехать на поезде*, а немецких — *mit dem Zug fahren*. А затем сравнить результаты. А почему бы не проверить, как немцы ориентируются в количественных отношениях, раз у них в выражении двузначных чисел сначала имену-

ются единицы, а потом уже десятки? Может быть, их количественные представления отличаются от количественных представлений англичан, итальянцев или русских? В русском языке множество женских профессий и социальных ролей именуются существительными мужского рода: *директор, архитектор, лингвист, председатель*. Может быть, русские иначе представляют себе женщин в этих ролях, нежели носители языков, в которых женщины в тех же ролях именуются существительными женского рода? В немецком имеется масса слов женского рода для обозначения женских профессий, но при этом слово *девушка (Mädchen)* среднего рода. Почему-то любители гипотезы Сепира-Уорфа эксперименты по выявлению воображаемых «картинок» проводить избегают, несмотря на то что постоянно апеллируют к картине мира. А напрасно. Вдруг и правда получатся разные результаты?

Некоторые эксперименты все же проводятся. Особенно этим увлекались сторонники и противники гипотезы лингвистической относительности в середине прошлого века. Но те эксперименты, которые проводили и проводят время от времени сторонники неогумбольдтианства¹, не убеждают. Некоторые результаты, казалось бы, доказывают влияние языка на восприятие мира: распознавание цвета, пространственную ориентацию. Другие эксперименты эти наблюдения опровергают. Не доказано ни тождество языка и мышления, ни однозначное влияние языка (лексики и грамматики) на логические ходы, способы познания и восприятия. Не доказано, что Эллочка-людоедка с ее тридцатью единицами активного лексикона мыслила существенно иначе, чем ее современники, — например, что IQ у нее был ниже или что она вела себя заметно иначе. Не доказано, что сходства в «мировидении» граждан одного государства или носителей одного языка (условно одного, так как языки у разных социальных групп совпадают лишь частично) больше, чем сходства в «мировидении» представителей одной профессии независимо от языка. Есть основания предполагать, что система взглядов и оценок у людей, долгое время работающих вместе на одном предприятии, более монолитна, чем система взглядов людей, работающих на разных предприятиях, независимо от их языков и национальностей. Также есть основания предполагать, что взгляды всех йогов или всех правых экстремистов, или всех борцов за права человека более схожи, чем система взглядов правого экстремиста и борца за права человека, являющихся носителями одного языка. И есть

¹ Интересующихся описанием конкретных экспериментов, проводившихся в разные годы в некоторых странах по установлению корреляции между языком и мышлением, отсылаем к книге: [Werlen 2002].

все основания предполагать, что языки у них в существенных чертах различаются. Так или иначе, мера «общности» культур или способов осмыслять мир по этническому или лингвистическому признаку в сравнении с общностью по другим критериям не исследована, научных сравнительных данных не имеется и потому принимать эту меру за абсолют и исходить из нее в теоретических построениях нельзя.

Но то, что гипотеза лингвистической относительности так и не обрела статуса теории, приверженцев лингвокультурологии не смущает. В лингвокультурологических работах существование языковой картины мира как совокупности взглядов народа (без точного определения, что такое «народ») объявляется общепризнанным и потому не требующим доказательств фактом. Большинство работ лингвокультурологов открывается констатацией доказанности, самоочевидности и абсолютной неопровержимости неогумбольдтианства («сегодня уже можно считать доказанным...», «все известно, что...»). Например: «Уже доказано, что мы не просто говорим на разных языках — мы, носители разных языков, по-разному членим реальный мир, имеем разные языковые картины мира, мир предстает не сам по себе, а преломляясь через языковое сознание народа (у каждого народа — свое)» [Пантелеенко 2007: 58]. В качестве доказательств особого и общего для «народа» мировидения используются также авторитеты русских философов (Бердяева, Лосева, Ильина) и даже писателей (Достоевского, Гоголя), на цитаты которых лингвисты считают возможным ссылаться как на научную базу своих теоретических построений, как в советские времена работы в той же области опирались на столь же неопровержимые постулаты марксизма-ленинизма.

Условием установления предикативной связи между метафорой «языковая картина мира» и «совокупностью взглядов народа» в лингвокультурологии является презумпция ведущей роли языка в дихотомии *язык—мышление* и презумпция существования совокупности взглядов народа как единой и монолитной идеальной сущности. Последняя отождествляется с национальным менталитетом, национальной ментальностью, этнической ментальностью, этническим менталитетом, национальной культурой, национальной концептосферой, национальным характером, душой народа, мировидением народа. Все эти словосочетания используются в лингвокультурологии как синонимы (лингвокультурологи не проводят различия между понятиями *нация*, *этнос* и *народ*) и одновременно как обозначения некоторого явления, не требующего научного подтверждения, т.е. имеющего статус аксиомы.

На наш взгляд, употребление выражения «языковая картина мира» в качестве научного термина в научном дискурсе неприемлемо.

Во-первых, единой и цельной языковой картины мира не существует, ее фрагменты явно противоречат друг другу (*ехать на автобусе — в автобусе — автобусом*) и в картину не складываются. Кроме того, они же противоречат реальному восприятию событий: никто автобус, на крыше которого едут люди, себе не представляет, несмотря на предлог *на*, *горячее*, которое обычно подается в качестве обеда, вовсе не обязательно горячее (чаще оно теплое), директор Мария Ивановна в нашем воображении все-таки женщина, несмотря на ее обозначение существительным мужского рода. Если о каком-то явлении говорится, что его корни к чему-то восходят, то это не означает, что мы, произнося или слыша это, немедленно воображаем древесные корни, которые еще и растут вверх. Не нужно навязывать носителю того или иного языка представления, которых у него нет.

Во-вторых, принципиальная возможность переформулировать любую мысль, выбрать для нее подходящую форму из целого набора вариантов, включая и те, которые не зафиксированы словарями, делает рассуждения о статичной, данной человеку при рождении «языковой картине мира» умозрительно-идеологическими построениями.

В-третьих, язык находится в перманентном развитии, независимо от того, осознаем мы это или нет. Некоторое время внутренне, скрытые движения не проявляются в его системе и рассматриваются как ошибки, небрежность, намеренное коверканье, словотворчество, поэтизмы, нарушающие норму странности. Но наступает момент, когда накопленное количество переходит в новое качество — и вчерашний язык перестает быть языком сегодняшним. Русский язык, каким он был двадцать лет тому назад, — это не нынешний русский язык. Изменились значения множества слов. Возникла масса новых лексем и исчезла масса прежних. В настоящее время у людей разных поколений практически разные языки. Иногда им требуется переводчик, чтобы понять друг друга. Текст, написанный журналистом среднего возраста, молодые люди понимают лишь отчасти — и наоборот. Как можно всерьез говорить о единой языковой картине мира «русского человека», если вчера она была одна, а завтра другая, и если она не совпадает у представителей различных социальных групп?

В-четвертых, рамки языковой системы постоянно преодолеваются в речи: лексемы комбинируются и означают в одном контексте не вполне то, что они обозначают в другом контексте,

ad hoc создаются новые слова и выражения, окказионализмы и метафорика пронизывают нашу речь. Мы обмениваемся не словами и не граммемами, а смыслами. И переводим мы смыслы. А смысл — это актуализация тех или иных сем. Семный состав лексем принципиально подвижен, в речи реализуется далеко не все, что есть в языке, поскольку языковые описания — это отвлеченная от текстов совокупность наиболее характерных и наиболее часто повторяющихся сем. В речи часть их отодвигается на задний план, а часть или по крайней мере одна сема, наоборот, актуализируется.

Обозначения эмоций, а также лексемы чисто экспрессивной семантики (бранные, ласкательные) определить даже лексикографически крайне сложно, так как они являются символами со слабо выраженным денотативным значением, их смысл почти целиком определяется ситуацией их употребления. Комплекс эмоциональных состояний, который испытывает или имеет в виду говорящий при их употреблении, обычно сложен и в разных ситуациях непостоянен, т.е. это каждый раз новые комплексы, в которых отдельные эмоциональные составляющие вычленишь и описать затруднительно, поэтому их обозначение привычными метками типа *радость, злость, раздражение, тоска, пригорюниться, выйти из себя, не по себе* и пр. исключительно условно. В слова типа *болван, негодяй, дурак, лапочка, ласточка, солнышко* также вкладываются в каждой конкретной ситуации разные смыслы, и одно и то же слово можно произнести с эмоциональным накалом, а можно равнодушно. Следовательно, судить о значениях слов со слабо выраженным денотативным содержанием — занятие, заранее обреченное на приблизительность. Обозначения эмоций и эмоционально окрашенная лексика на уровне собственно лексикона не только не могут быть точно переведены, но и не могут быть точно описаны по причине неуловимости денотата. Это, казалось бы, достаточно очевидно.

Но лингвокультуролог явно смотрит на дело иначе: «Вот мы вычленили какое-то чувство по какому-то признаку. Дальше будем считать, что вот имеется такое чувство. Оно как-то называется. А потом оказывается, что в другом языке люди по-другому вычленили, например более дробно или вообще сочли какие-то признаки более существенными. Там другая совокупность эмоций. Вот и получается, переводим мы, скажем, текст с иностранного языка, там есть какое-нибудь слово. Точно его перевести на русский язык невозможно, но в каждом из контекстов можно перевести. Это, кстати, очень часто переводчики, когда скажешь, что вот слово труднопереводимое русское. Они начинают говорить — как же, нет, обязательно, можно так перевести, можно так перевести. Конечно, в каждом контексте

ловкий переводчик может подобрать какое-нибудь слово более или менее подходящее, но рассыплется вот этот весь концепт. А ведь для языка важно, что именно эта совокупность эмоций, именно эта часть эмоционального пространства называется каким-то словом. Например, слово “тоска”, знаменитое русское. Очень часто переводчики говорят, что, да, в этом контексте можно как ностальгия перевести, в этом — как грусть. А одного слова подобрать, которое бы переводило слово “тоска” на другие языки, очень трудно. Или перевести можно, но что-то потеряется» [От А до Я 2006].

Автор этого утверждения убежден, что в речи мы имеем дело со словами из словарей, т.е. не со смыслами, а с лексическими значениями, которые лингвокультурологи отождествляют с «концептами». Неудивительно, что с переводчиками человека, таким образом рассматривающему речь, общий язык не найти: в изображении Левонтиной переводчик предстает ловкачом, жонглирующим лексемами, в то время как для переводчиков слова в речи перестают быть отвлеченными лексемами — они обретают смыслы, обусловленные их употреблением. «Что-то потеряется» у слова *тоска* не в переводе, а в любом русском тексте — по сравнению с совокупностью сем в подробном лексикографическом описании того же — очень емкого по семантике — слова. Некоторые слова даже в речи действительно непереводимы, поэтому приходится использовать переводческие трансформации: менять синтаксис, превращать существительное в прилагательное и т.д. Но смыслы, складывающиеся из слов во взаимодействии с их непосредственным лексическим (контекст в узком смысле слова) и фоновым (контекст в широком смысле слова) окружением и в конкретных синтаксических конструкциях, переводимы почти всегда — за исключением случаев, когда форма (графика, звучание) наполнена содержанием (например, аллитерация в поэзии) или когда автор использует игру слов и она основана на фонетике или многозначности. Переводчики работают не со словами, а со смысловыми инвариантами, которые как раз и представляют собой вычлененные из текста семы, подлежащие переводу. Если невозможно передать стилистические коннотации в лексическом эквиваленте, производится так называемая компенсация, т.е. коннотации передаются с помощью дополнительных средств. Реалии непереводимы по определению (это переводоведческий термин для обозначения непереводимых лексем), но их денотаты можно объяснить и описать (подробнее о трудностях перевода см.: [Павлова 2012; Павлова, Светозарова 2012]). А «концептов» в текстах не бывает. Концепт, т.е. понятие, складывается в результате множества процессов абстрагирования от конкретных употреблений,

обобщения, генерализации. Переводятся же как раз конкретные употребления, поэтому говорить о переводе «концептов» — это нонсенс.

Научное обоснование подводится лингвокультурологами и под понятие «национальный характер» (напомним: синонимы «национальный менталитет», «национальная ментальность», «этническая ментальность»). Лингвисты всерьез обсуждают, каким научным содержанием наполнен данный термин. В некоторых трудах авторы делают попытку отделить национальную ментальность от национального характера, для них это не одно и то же: «Существует национальный менталитет — национальный способ восприятия и понимания действительности, определяемый совокупностью когнитивных стереотипов нации. Ср.: американец при виде разбогатевшего человека думает: “богатый — значит умный”, русский же в этом случае обычно думает “богатый — значит вор”. Понятие “новый” у американца воспринимается как “улучшенный, лучший”, у русского — как “непроверенный”. Таким образом, национальный менталитет представляет собой национальный способ восприятия и понимания действительности на базе присутствующих в национальном сознании стереотипов, готовых мыслей, схем объяснений явлений и событий, механизмов каузальной атрибуции. Это стереотипы *сознания*. *Национальный характер* — это психологические стереотипы *поведения* народа» [Стернин, Ларина, Стернина 2003: 24–25] (курсив авторов. — А.П., А.П.). Авторы настолько убеждены в том, что определенные стереотипы сознания и поведения свойственны всем без исключения представителям одного народа (при этом не уточняется, какую сущность предлагается понимать под «народом»: например, «американцы» — это все граждане США или это только англоязычные граждане США, или это обязательно граждане США, но любые англоязычные люди, проживающие в США, должны ли они проживать в США с рождения или достаточно, чтобы они прожили там лет 15–20, и т.д.), что даже не считают необходимым проверять свои теоретические выкладки экспериментальным путем или привлекать иные системы подтверждений. Они уверены, что доподлинно знают, о чем именно подумает каждый представитель «народа» при том или ином стимуле. Иными словами, российские лингвисты активно занялись мифотворчеством.

Нам представляется терминологическое использование словосочетания «национальный характер» и синонимичных ему выражений в научном дискурсе абсолютно недопустимым: под этим «концептом» подразумеваются психические свойства не отдельного индивида, а целой группы людей, часто очень большой. Группа имеет общую культуру (реакции, модели поведе-

ния, систему ценностей, символы, обычаи и т.п.). Из общности культуры нельзя делать вывод об общности (и специфичности) психического склада составляющих группу (в том числе нацию, народность, этническую группу) индивидов. Те черты, которые мы воспринимаем как специфические особенности «национального характера», т.е. общенациональной культуры (а особенностей этих в целом немного, если не принимать за них этностереотипы), — это продукт определенных исторических условий и культурных влияний. Они производны от истории и изменяются вместе с нею, причем меняются быстро и постоянно. А уже вслед за ними, обычно с заметным отставанием, меняются и соответствующие стереотипы. Так, в начале XVIII в. в Европе многие считали, что англичане склонны к революции и перемене, тогда как французы казались весьма консервативным народом. Сто лет спустя мнение диаметрально изменилось. В начале XIX в. немцев считали (и они сами разделяли это мнение) непрактичным народом, склонным к философии, музыке и поэзии и малоспособным к технике и предпринимательству. Произошел промышленный переворот в Германии — и этот стереотип стал безнадежным анахронизмом. История каждого народа, в особенности история больших современных наций, сложна и противоречива [Кон 1971: 122–158]. И черты культуры в каждый отдельный период времени в этностереотипах не выражаются и этностереотипами не отражаются.

Питирим Сорокин [Sorokin 1967: 99–115] писал, что свойства разрозненных частей автомобиля не тождественны свойствам целого автомобиля как организованной системы; свойства человеческого организма как системы нельзя понять, изучая его отдельные органы или клетки. Точно так же и свойства социально-культурной системы нельзя понять, ограничив себя изучением отдельных членов общества. На этом основании Сорокин считал психологическое исследование национального характера принципиально невозможным. И мы полностью разделяем вывод Б.Ф. Поршнева [Поршнев 1979: 200–201] о том, что неудачи любых попыток «составления для каждой этнической общности чего-то вроде социально-психологического паспорта» отражают не только несовершенство наших понятий и методологические трудности, но и противоречивость самого исторического развития. Эти выводы подтверждают результаты недавнего репрезентативного исследования, проведенного международной группой из 65 исследователей [Terracciano et al. 2005]. Были получены оценки «национального характера» 3989 представителей 49 этносов. Затем их сравнили со средним показателем коэффициента индивидуальных черт представителей данного этноса, оцененных по пятифак-

торной модели. Никакой корреляции между ними обнаружено не было. Таким образом, в любых якобы научных рассуждениях о «национальном характере» речь идет не о чертах национального характера, а об этнических стереотипах. А стереотипы тем и отличаются от научных подходов, что их в научных рассуждениях применять нельзя, иначе перед нами уже не наука, а псевдонаука, т.е. тексты вроде следующего: «Лингвист объяснил русский менталитет через слова» <<http://www.adme.ru/articles/lingvist-obyasnil-russkij-mentalitet-cherez-slova-422555/>>.

На недопустимость использования словосочетания «национальный характер» в лингвистическом научном дискурсе косвенно указывает и И.Б. Левонтина, когда она утверждает: «Мы, лингвисты, ничего не говорим о том, каков русский человек» [Левонтина 2012: 165]. Вероятно, Левонтина не считает лингвокультурологов, старательно перечисляющих свойства русского человека, лингвистами. Ее замечание тем удивительнее, что в книге «Ключевые идеи русской языковой картины мира», написанной ею в соавторстве с А.А. Зализняк и А.Д. Шмелевым, идея национальной исключительности выражена в формулировках: «Целый ряд слов отражает пресловутую “задушевность” русского человека»; «Русский человек болезненно реагирует, когда ему кажется, что его попрекают»; «Сама потребность “русской души” в размахе требует простора»; «Склонность к жалости осознается как специфически русская черта» [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005: 32, 36, 74, 270] и т.д. Около сорока раз в кавычках и без кавычек в тексте и заголовках книги встречаются мифологемы *национальный характер*, *национальная ментальность*, *русское видение мира*, *русское мироощущение* и *русская душа* как синонимы словосочетания *русская языковая картина мира*.

Причин появления лингвокультурологии именно в России и именно в конце XX в. несколько. Основной из них, как представляется, являлась политическая ситуация: развал Советского Союза повлек за собой целенаправленный поиск объединяющей «национальной идеи», объявленный Борисом Ельциным еще в 1996 г. Лингвистика активно подключилась к поискам. Понятно, что когда объединяющей идеи и объединяющих устремлений и целей у общества нет, то спасительной соломинкой для национальной самоидентификации оказывается национальный язык — тот столп, на котором якобы зиждется единство национальной культуры.

Вторая, параллельная причина: отказ от марксизма как теоретической базы всех наук при советской власти заставил после падения режима в 1990-е гг. искать другие теоретические осно-

вания для дальнейших лингвистических исследований. Гипотеза Сепира-Уорфа пришлась как нельзя более кстати, поскольку позволяла выполнить госзаказ и, будучи сама по себе изначально идеологически и политически нейтральной, питала тем не менее националистические настроения в пришедшем в смятение обществе.

Третья причина состоит в том, что, несмотря на все универсалистские устремления, выводимые из марксизма, идея национальной исключительности и восхваления русского языка как особо развитого, богатого, великого и могучего, как языка великой культуры великого народа подспудно бытовала в стереотипном наборе представлений самых разных групп населения России еще со времен Ломоносова. Она встречалась в том или ином виде во множестве учебников русского языка — не только школьных, но и университетских, и традиция эта никогда не прерывалась, так что после отказа от универсализма эта идея лишь окрепла и выступила на авансцену как официально дозволенная и давно желанная [Jachnow 1987; Павлова, Безродный 2010].

Классическими для российских лингвистов, работающих в русле неогумбольдтианской доктрины, стали работы польско-австралийской исследовательницы Анны Вежицкой. Продолжая традиции Сепира и Уорфа, она разработала концепции этносемантики и этнограмматики. Вслед за сравнением лексических систем разных языков Анна Вежицкая обратилась к контрастивному анализу синтаксических конструкций, грамматических категорий и даже словообразовательных возможностей некоторых языков мира. Языковые особенности получают не просто семантическую, но и националистическую интерпретацию. С помощью семантического метаязыка строятся фрагменты картины мира, стоящей за каждым языком [Кронгауз 2005: 90–92]. Все своеобразие культуры народа Вежицкая сводит к нескольким концептам, таким как *судьба*, *тоска*, *душа*, *воля* для русской культуры, *Ordnung* — *порядок*, *Befehl* — *приказ*, *Angst* — *страх* для немецкой, *freedom* — *свобода*, *privacy* — *приватность*, *enterprise* — *предприимчивость* для английской. Из того обстоятельства, что по-английски говорят *he succeeded*, а по-русски *ему это удалось*, Вежицкая заключает, что «английская номинативная конструкция возлагает ответственность за успех или провал предприятия на того человека, который его предпринимает, тогда как дативная конструкция русского языка полностью освобождает человека от любого вида ответственности за конечный результат: что бы ни произошло — что-либо хорошее или что-либо плохое — это не является результатом наших собственных действий» [Вежицкая 1996: 72]. Еще она добавляет, что примеры подобного типа по-

зволяют подвести «хороший итог описанию различий в этно-философиях, отражаемых данными языками» [Вежицкая 1996: 73], поскольку грамматика русского языка изобилует конструкциями, в которых реальный мир представлен в виде мира, «противоречащего желаниям и устремлениям человека или, по крайней мере, не зависящего от этих желаний и устремлений, тогда как английский язык этого почти не делает» [Там же]. Именно дативные конструкции в русском языке (в безличных предложениях) раскрывают «особую направленность семантического мира русского языка и русской культуры» [Там же: 75].

Идея о том, что неактивные, или эргативные, конструкции соответствуют мышлению «пассивного» типа, не является оригинальным умозаключением Вежицкой. Как отмечает Патрик Серио [Серио 2011: 38], подобные взгляды можно найти в работах Кристиана Корнелиуса Уленбека (1866–1951), который утверждает, что люди, говорящие на языках с эргативной конструкцией, считают человека лишь пассивным орудием в руках божественной силы. Данный тип мышления соответствует религиозному фатализму «отсталых» народов, ощущению всеобщего бессилия человека перед тотемом или природой (народы Кавказа, индейцы Северной Америки и т.д.), в отличие от мышления людей, говорящих на индоевропейских языках, «активная» конструкция которых определяется тем, что субъект всегда представлен именительным падежом.

Сходные воззрения использовали и идеологи расовой теории для лингвистического обоснования превосходства арийской расы. Вот что пишет Ганс Гюнтер, известный идеолог нацизма: «Глубокое изучение индоевропейских языков и их общего своеобразия, даже если бы не было никаких расологических, археологических и прочих открытий, одно уже дало бы возможность четко описать духовное своеобразие соответствующей этим языкам расы. <...> Каждый индоевропейский язык — это компромисс между духом нордического языка и языковым влиянием ненордического туземного населения. Дух завоевания, деятельности и смелости отражается в формировании и структуре индоевропейских языков. <...> Нордический человек ощущает себя действующим лицом, центральноазиатский — определяет действие. “Мое дерево — видение” выражает менее напряженное восприятие, чем индоевропейское: “Я вижу дерево”. Характерно, что даже в сфере почти бездеятельного восприятия человек, говорящий на индоевропейских языках, все же чувствует себя действующим лицом, тогда как человек, говорящий на финно-угорских и алтайских языках, даже для описания собственной деятельности находит в языке только выражения, определяющие процесс» [Гюнтер 2005: 188–189].

Нельзя не согласиться с Т.В. Булыгиной [Булыгина, Шмелев 1997: 489] в том, что умозаключения Вежицкой о пассивности русского национального характера, склонности к фатализму и смирению, выводимые из того факта, что русскому языку свойственны безличные предложения, поверхностны, не подтверждаются ни анализом безличных предложений в системе языка, ни логикой рассуждения. Г.А. Золотова обоснованно считает, что «разнообразие “безличных” моделей, существующих наряду с личными, говорит, напротив, о богатстве смысловых и выразительных оттенков, различий в выражении состояния, эмоций, о яркой гамме модальных и межличностных отношений, представленных в семантическом пространстве русского синтаксиса. <...> И если “английский язык обычно представляет все жизненные события, происходящие с нами, так, как будто мы всецело управляем ими, как будто все наши ожидания и надежды находятся под нашим контролем, даже ограничения и вынужденные действия представлены в нем именно с такой точки зрения” [Вежицкая 1996: 56], — если бы это было справедливо, — такая характеристика языка, подобным образом модифицирующего, обедняющего и сковывающего человеческие проявления, могла бы вызвать сочувствие к его носителям. <...> Тот факт, что в русском языке сосуществуют две конструкции со значением стихийной каузации “Его убило молнией” и “Его убила молния”, свидетельствует не о том, что русской культуре свойственно представлять мир как не поддающийся человеческому разумению, а о том, что русский язык различает маркированную и немаркированную стихийность воздействия, во втором случае придающую каузатору некоторый выразительный оттенок как бы персонифицированности, если это нужно говорящему. <...> Привычный морфологический подход к грамматике помешал А. Вежицкой объективнее распознать онтологическую природу явлений, о которых человек говорит: ведь активность, целеустремленность, волюнтивность — свойства личного действия, но не состояния, а “безличные” предложения созданы языком для выражения состояния, и неоправданно требовать от них несвойственных им признаков» [Золотова 2000: 113–114].

На Западе «культурологическая» лингвистика Вежицкой популярностью не пользуется, а служащее ей теоретической базой неогумбольдтианство для серьезных лингвистов давно архивировано как гипотеза, которую нельзя ни верифицировать, ни опровергнуть. В отличие от России в Западной Европе быстро развивается дискурсивный анализ, и культура рассматривается в строго историческом, политическом и социальном ключе. А вот в российском языкознании лингвокультурологическое направление, родившееся как продолжение идей

Вежбицкой, является в настоящее время мейнстримом. Риск углубления изоляционизма российского языкознания путем стараний лингвокультурологов доказать специфичность мировидения и культуры «русского человека» через его язык трудно сейчас оценить. Лингвокультурология широко преподается в различных российских вузах, благодаря чему студентов с университетской скамьи приучают к анализу воображаемых связей между воображаемыми объектами, к игнорированию очевидности (узуса, билингвизма, переводимости), к работе вне научных методов: сплошная выборка, репрезентативный набор примеров, дискурсивный анализ, объяснение явлений в историческом ключе, подбор критериев, обеспечивающих доказательность, — все это отброшено за ненадобностью. Работы лингвокультурологов пронизаны оценочностью и убеждением, что этностереотипы можно использовать как основание для каких бы то ни было научных построений. Легкость приобретения научных степеней за счет «культурных концептов» и «фразеологической картины мира» превратила лингвокультурологию в привлекательную «кормушку» для всех желающих приобщиться к академической карьере. Лингвокультурология отвлекает лингвистов от решения актуальных языковедческих проблем, заменяет науку мифологией, расширяет некомпетентность и превращает ее в норму.

В рецензии на книгу А.А. Петрова, в которой автор рассуждает о менталитете эвенов, А.А. Бурыкин пишет: «Рецензент за 10 экспедиций к эвенам особого “менталитета” у них не обнаружил. Из полевой практики нам известно, что “менталитет” возникает при незнании или плохом знании языка общения наблюдателем и отсутствует в остальных ситуациях» [Бурыкин 2001]. Это замечание подтверждается и нашим опытом: так, чем хуже иммигранты в Германии знают немецкий язык и чем меньше круг их общения с коренным населением, тем больше места в их дискурсе занимает тема сравнения менталитетов и утверждения примата собственного над чужим.

Однако «менталитет» возникает и еще в одной ситуации, а именно — когда язык используется в целях создания новой идеологии национального единства. Как раз эта ситуация наблюдается в российской лингвокультурологии. Ее реальный (а не декларируемый) метод заключается в анализе националистических (главным образом, славянофильских) высказываний русских писателей, философов и публицистов. Эти высказывания лингвокультурологи препарируют, снабжают некоторым количеством примеров из лексикона или из грамматики и выдают переработанные реминисценции националистически мыслящих литераторов за результат лингвистического анализа. Обнаружение культуры за языковыми знаками якобы

чисто лингвистическим путем является замкнутым кругом повторений одного и того же, известного до всякого языкового анализа и напоминающего то ли ритуальные заклинания, то ли молитвы. Свойства несуществующих «менталитетов» приписываются им внутри лингвокультурологического дискурса, вне его нет ни свойств, ни менталитетов. «Знаменитость» слов типа *тоска* или *душа* создается самим лингвокультурологическим дискурсом, вне которого признаков знаменитости не наблюдается, как не наблюдается оценочности в отношении к словам, концептам и культурам. Оценки создают сами лингвисты, тем самым изменяя своей профессии: там, где начинается оценочность, кончается наука.

Заявляемый лингвокультурологией «антропологический подход» к изучаемому объекту оборачивается полным исчезновением человека из изучаемого объекта, поскольку он замещается неким обобщенно-усредненно-абстрактным носителем некой обобщенно-усредненно-абстрактной «национальной ментальности». Декларируемая «реконструкция» языковой картины мира представляет собой конструирование несуществующих объектов и несуществующих отношений между ними.

В лингвистическом мире вне российских границ лингвокультурология — явление одиозное. Причина этому не только в активном использовании в качестве терминологического аппарата этически сомнительных «концептов» (на Западе термины вроде «душа народа» или «национальный характер» в какой-либо научной области невозможно себе представить), но и в полном отсутствии методологии. В своем рвении утвердить национальную идентичность с помощью языка лингвокультурология дискредитирует российскую лингвистику в целом, бросая тень даже на те ее области, которые к этой дисциплине не имеют отношения.

Лингвокультурология обосновывает необходимость своего существования в первую очередь потребностями межкультурной коммуникации. Но суждения о культурах других народов в лингвокультурологических работах поверхностны и недостоверны. Вместо серьезных, методологически обоснованных штудий, обращенных к назревшим вопросам семантики, нашему вниманию предлагается бесконечный поток якобы языковедческих текстов об уникальных немецких концептах *Ordnung* и *Angst*, о непереводаемых русских словах *судьба* и *разлука*, меркантильных и прагматичных англичанах, не различающих синий и голубой цвета и не так, как русские, считающих этажи. Назойливое повторение клише «англичане рациональны», «русские задушевные», «немцы пунктуальны», якобы

подтверждаемых языковым материалом, углубляет пропасть между культурами и прокладывает путь не к улучшению межкультурной коммуникации, а к деградации гуманитарной мысли.

Сама по себе псевдонаука — будь то астрология, френология, евгеника, расовая теория — плоха уже тем, что отвлекает внимание большого количества людей от науки и развращает их в том отношении, что они перестают понимать, чем научные методы отличаются от псевдонаучных. Если псевдонаука приобретает массовый характер, то могут вырасти целые поколения, не знакомые с научными подходами. Однако псевдонаука значительно опаснее тем, что способна приобретать характер обязательной государственной идеологии. В любой псевдонауке заложен потенциал такого превращения, буде она окажется востребованной «историческим моментом», т.е. интересами управляющей обществом и государством группировки. Особо мощный потенциал заложен в псевдонауке националистического характера, поскольку карта национализма — привычный и надежный козырь в экономически и политически нестабильные времена: с помощью национализма можно отвлечь широкие слои населения от насущных проблем, переключить внимание с назревшей необходимости менять социальный уклад на необходимость укрепления этого уклада перед лицом врагов, политических заговоров, чужих и чуждых культур и пр. Националистические тенденции в любой псевдонауке легко превращают ее в массовую идеологию.

Лингвистический национализм под эвфемистическим обозначением «лингвокультурология», возможно, и не превратится в политическую идеологию. Но эта дисциплина опасно близка к националистическому дискурсу, который владеет умами большей части российского населения, питая ксенофобию и расизм. Кроме того, в самой лингвистике лингвокультурология сейчас является господствующим направлением, так что лингвисты начинают ощущать на себе идеологическое давление: работы по страноведению, межкультурной коммуникации, переводоведению теперь принято писать, пользуясь «ключевыми словами» и понятийным аппаратом лингвокультурологии. Членам ученых советов приходится одобрять защиты диссертаций, посвященных коллективным ментальностям, национальным характерам и описаниям «культурных концептов», якобы извлекаемых путем анализа из языка. Особенно трудно приходится университетским преподавателям, которым нужно читать лекции по лингвокультурологии в обязательном порядке, даже если они прекрасно понимают разницу между наукой и псевдонаукой. Думается, что любая терпимость по отношению к лингвокультурологии со стороны серьезных

ученых сейчас уже приблизилась к грани, за которой начинается попустительство.

Для своевременного распознавания потенциального превращения лингвистики в идеологию (что случалось в истории гуманитарной мысли неоднократно, но особенно ярко, в государственном масштабе, проявилось к концу первой трети прошлого века в Германии) Оскар Райхман, историк германских языков, предлагает создать языковедческую субдисциплину под названием «лингвистическая критика»: «Важным предметом критики должны стать явно идеологические высказывания в виде якобы неопровержимых и объективных фактов. Признаком намеренной объективации являются утверждения о том, что что-либо не подлежит сомнению, всем известно, вечно значимо, закреплено в культуре и обосновано в глубокой древности. Явные идеологемы такого рода риторически формулируются так, чтобы они казались очевидными даже неискушенному в лингвистике читателю. Естественность языка, его данность человеку природой, его вековая сохранность, его богоданность, его неповторимая, уникальная логичность и стройность — короче, все доблести, отличающие данный язык от любого другого, — это идеологемы.

Критике должны быть подвергнуты взгляд на язык как на единообразную (гомогенную) систему — в противоположность гетерогенной, неединообразной, пестрой, разнородной, а также гипостазирование языка как исторически и социально постоянной (константной) сущности, описание языка в терминах картины мира: допущение языковой картины мира не что иное, как проекция и опредмечивание творящего начала (язык как деятельность) и неразрывно связанной с этим “национализации”» [Reichmann 2000: 465].

Библиография

- Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М.: Языки русской культуры, 1997.
- Бурыкин А.А. Рец. на кн.: Петров А.А. Язык и духовная культура тунгусоязычных народов. Этнолингвистические проблемы // Электронный журнал «Сибирская Заимка». 2001. № 2. <http://zaimka.ru/review/petrov_review.shtml>. Проверено 10.11.2012.
- Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М.: Русские словари, 1996.
- Гюнтер Г.Ф.Л. Избранные работы по расологии / Пер. с нем. А.М. Иванова. М.: Белые альвы, 2005.
- Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира. М.: Языки славянской культуры, 2005.

- Золотова Г.А.* Понятие личности / безличности и его интерпретации // Russian Linguistics. International Journal for the Study of the Russian Language. 2000, July. Vol. 24. No 2. P. 103–115.
- Кон И.С.* К проблеме национального характера // История и психология / Под ред. Б.Ф. Поршнева и Л.И. Анцыферовой М.: Наука, 1971. С. 122–158.
- Кронгауз М.А.* Семантика: Учебник для студ. лингв. фак-тов высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2005.
- Левонтина И.Б.* Не уезжай ты, мой голубчик... // Стенгазета. 1997, 8 апр. № 14. <<http://www.stengazeta.net/article.html?article=1630>>. Проверено 10.11.2012.
- Левонтина И.Б.* Лингвистический оптимизм // Матрица русской культуры: миф? двигатель модернизации? барьер? М.: Лев Толстой, 2012. С. 163–169. <http://www.svor.ru/public docs_2012_5_15_1340277724.pdf>. Проверено 10.11.2012.
- От А до Я. Языковая картина мира. (Радиопрограмма). «Радио Свобода», 26.11.2006. <<http://www.svobodanews.ru/content/transcript/291574.html>>. Проверено 10.11.2012.
- Павлова А.В.* Можно ли судить о культуре народа по данным его языка? // Антропологический форум. 2012. № 16 Online. <<http://anthropologie.kunstkamera.ru/07/16online/>>. Проверено 11.11.2012.
- Павлова А.В., Безродный М.В.* Хитрушки и единорог: образ русского языка от Ломоносова до Вежицкой // Academic Electronic Journal in Slavic Studies Toronto Slavic Quarterly. 2010. No. 31. <<http://www.utoronto.ca/tsq/31/bezrodny31.shtml>>. Проверено 10.11.2012.
- Павлова А.В., Светозарова Н.Д.* Трудности и возможности русско-немецкого и немецко-русского перевода. СПб.: Антология, 2012.
- Пантелеенко О.А.* Роль интертекстуальности в устранении лакун при экранизации художественного текста // Вестник МГЛУ. Сер. 1. Филология. 2007. № 2 (27). С. 58–63.
- Пинкер С.* Язык как инстинкт: Пер. с англ. / Общ. ред. В.Д. Мазо. М.: Едиториал УРСС, 2004.
- Поршнев Б.Ф.* Социальная психология и история. М.: Наука, 1979.
- Серио П.* Оксюморон или недопонимание? Универсалистский релятивизм универсального естественного семантического метаязыка Анны Вежицкой // Политическая лингвистика / Гл. ред. А.П. Чудинов. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2011. Вып. 1 (35). С. 30–40.
- Стернин И.А., Ларина Т.В., Стернина М.А.* Очерк английского коммуникативного поведения. Воронеж: Истоки, 2003.
- Тер-Минасова С.Г.* Язык и межкультурная коммуникация. М.: Слово, 2000.
- Шаховский В.И.* Эмоции. Долингвистика. Лингвистика. Лингвокультурология. М.: Книжный дом «Либроком», 2009.
- Jachnow H.* Ist das Russische eigentlich eine besondere Sprache? // Slavistische Linguistik 1986. 1987. S. 209–230.

- Terracciano A. et al.* National Character Does Not Reflect Mean Personality Trait Levels in 49 Cultures // *Science*. 2005, 7 October. Vol. 310. P. 96–105.
- Reichmann O.* Nationalsprache als Konzept der Sprachwissenschaft // *Nation und Sprache. Die Diskussion ihres Verhältnisses in Geschichte und Gegenwart* / Hrsg. A. Gardt. Berlin: De Gruyter, 2000. S. 419–469.
- Sorokin P.A.* The Essential Characteristics of the Russian Nation in the Twentieth Century // *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*. 1967, March. Vol. 370. P. 99–115.
- Werlen I.* Sprachliche Relativität. Eine problemorientierte Einführung. Tübingen; Basel: Francke Verlag, 2002.

РЕВЕККА ФРУМКИНА

1

Для целей дальнейшего изложения я разделяю лженауку и псевдонауку. На примере лингвистики феномен *лженауки* подробно описан акад. А.А. Зализняком, который объединил соответствующие работы под рубрикой «любительская лингвистика».

Я же в дальнейшем остановлюсь на феномене *псевдонауки*.

Псевдонаука как регулярный феномен возникает в областях знания, где по разным причинам а) нет или не может быть *доказательных рассуждений* в строгом смысле этого термина, б) нет сильного профессионального сообщества, которое блокировало бы рассуждения, якобы *правдоподобные* (в смысле известной книги Поля), а на деле противоречащие консенсусу, принятому в данном научном социуме.

Оценка рассуждений / заключений как «правдоподобных» укоренена в конкретной научной и культурной традиции, т.е. предполагает определенный *культурный консенсус*.

В современной культуре (а не в одной лишь науке) невозможно, например, рассматривать *предопределение* не как метафору, а наравне с *причинно-следственными*

связями, как нельзя и решать «на глаз», например, что количество наблюдений или измерений достаточно для обнаружения общей закономерности.

Там, где консенсус неясен или расшатан, присутствие культурно и социально несовместимых позиций не рефлектируется их адептами и не осознается научной общественностью (тем более широкой публикой). Тогда и подход с позиций *правдоподобных рассуждений* теряет содержание. Это открывает путь к разнообразным фантазмам, которые с помощью якобы научных атрибутов облачаются в привычные для науки формы — от необоснованных интерпретаций и *обобщений по недостаточному основанию* до откровенного невежества, нередко сопряженного с фанатизмом, присущим тому, кто без должных оснований чувствует себя первооткрывателем, а то и пророком.

Советский Союз, будучи обществом закрытым и репрессивным, не просто культивировал единомыслие, но запрещал и преследовал *сомнение* как необходимую деятельность свободного ума. Наука без права на постоянное сомнение быстро вырождается, чему свидетелями в полной мере было старшее поколение нынешних исследователей разных специальностей и ориентаций.

Культурные процессы предполагают некий временной и пространственный режим, различный в разные эпохи. Но если «котел», где эти процессы протекают, наглухо завинтить, то взрыв все равно неминуем — вопрос лишь в формах, масштабах и временной локализации последствий.

Упомянутая выше и опознаваемая в этом качестве *«любительская»* наука в гуманитарной сфере — занятие, относительно «невинное» по своим следствиям, пока она не трансформируется в собственно идеологические постулаты. Зато *псевдонаука* опасна — именно в силу сложности ее опознания.

Подлинная критика наиболее одиозных псевдонаучных построений требует действительно *открытого* общества. Наше постперестроечное общество я склонна считать не открытым, а *приоткрытым* — у нас не только «парламент не место для дискуссий», но и Академия наук не лучше. В современной российской жизни *собственно науке* отведено незначительное место, поэтому ею и занимаются по преимуществу «странные» люди.

Таким образом, научное свободомыслие в России хоть и «введено», но на оригинальных условиях.

2

Исследователь, работающий в науке много лет, неизбежно сталкивается с изменением «правил научной жизни» как в ранее выбранной им области, так и в науке в целом.

Начав как лингвист, я успела застать марризм, «сталинское учение о языке», восстановление в правах русской фонологической школы, «разрешение» на структурализм в России, приход кибернетики, большие (применительно к лингвистической теории — чрезмерные) надежды на *точные методы*, увлечение Хомским и отрезвление и т.д. А поскольку я интересовалась по преимуществу именно *методами*, то приходилось углубляться в новые для меня области, где были подходы, представлявшие-ся многообещающими для моих задач.

Понимание этих исследований предполагало совсем иную подготовку, чем фундаментальное, но сугубо гуманитарное образование. (Признаюсь, что всякий раз это требовало больших усилий, еще и поэтому гуманитарии периода «бури и натиска» не могли похвастать количеством непосредственных учеников.) В качестве примера упомяну тонкие экспериментальные методики и многомерный анализ данных, которые при изучении восприятия и распознавания речи еще в начале 1960-х применялись, в частности, в работах Л.А. Чистович и ее школы в Институте им. Павлова в Колтушах и в ЛГУ.

К сожалению, соблазн быть первым / передовым велик, что бы это ни значило в каждом конкретном случае. Поэтому всегда будут работы, где в качестве *новых методов* и вдруг открывшихся новых фактов обнаруживается разная модная шелуха, а за терминами, вслепую «заимствованными» из *hard knowledge*, ничего не стоит.

Такие «непрофессиональные» работы иногда содержат интересные идеи, но полезны они лишь при условии, что автор осознает *модус* своих высказываний. Увы, *псевдонаучные* тексты обычно *утверждают*, а не вопрошают, притом с претензиями на особую значимость и новизну.

Понятно, что *провозглашать* проще, чем искать противоречия в якобы общепринятом, а уж тем более — в собственных результатах. Что уж говорить о серьезной аргументации, о необходимом количестве наблюдений, о воспроизводимости...

Когда метод как таковой не эксплицируется, то его домысливают или примысливают, находя прецедентные тексты и примеры. Но ведь метод должен быть *вычленим*, а его применимость подлежит обсуждению: в ином случае это прозрение или пристрастие.

Прозрения замечательны тем, что они неповторимы и невозпроизводимы. Точнее говоря, прозрения неповторимы и невозпроизводимы в пределах той парадигмы, где эти прозрения совершались. Если в целом данная ветвь допускает рост именно

в пределах *науки*, а не псевдонауки, то со временем она принесет и плоды, но в ином культурном контексте.

Анализ *пристрастий* — полезное занятие для историка науки, правда, при условии, что пристрастия вычленяются и осознаются как таковые. Такова, например, склонность к объяснению всего через *генезис*, притом что в конкретном случае данный генезис материалом не подтверждается, а в распоряжении исследователя есть лишь некоторое поверхностное сходство, соблазнительное именно своей якобы очевидностью.

4

Надеюсь, что мое отношение выражено в учебнике «Психолингвистика», где много внимания уделено методологии научного знания.

ТАТЬЯНА ЧЕРНИГОВСКАЯ

1

Я бы не сказала, что тексты, имитирующие научное знание, касаются относительно узкого круга областей: постоянно вынуждена тратить время на рецензии разного уровня, отвечать на письма, противостоять неожиданному, казалось бы, проявлениям этой страсти к строительству «новой науки» в среде преподавателей университетов. И это не только вышеназванные сферы, но и, например, нейрофизиология, медицина (психиатрия), даже искусственный интеллект и физика. Конечно, прежде всего это проблема сознания и мозга и сопутствующее ему страстное желание поскорее повторить человека в硅icone — с его разумом, чувствами и эмоциями, сделав его бессмертным (см., например: «Россия 2045» <<http://2045.ru>>), планируется даже «путь к нечеловечеству как основа идеологии партии “Эволюция 2045”»... Это всегда «Открытия», «Теория Всего», описания Вселенной и ее законов абсолютно новым способом — никогда не меньше. Не стоит думать, что это обязательно неадекватные недоучки или уж совсем маргиналы, тратящие невероятные усилия на взвешивание души или регистрацию «особых информационных полей». Гораздо хуже то, что часть

этих людей умудрились защитить диссертации, иногда они даже являются членами Академии наук. Конечно, наиболее привлекательны для них области, где они думают, что ориентируются, и потому гуманитарное знание попадает под особый обстрел: все-таки в физику или нейрофизиологию просто так не влезешь... Зато можно влезть в смежные области и смотреть, как влияют геомагнитные поля на биржевые индексы, или предсказывать развитие цивилизации в зависимости от веса мозга и времени года, когда гении рождаются, от плотности появления таковых в веках (реально предложенные темы)...

2

Да, может и должен. Но это тяжелый путь, нужно много учиться и много работать, и читать правильные книги, и попасть к умному наставнику, и доверять ему. Обычный аргумент «реформаторов науки»: я и не буду ничего доказывать, потому что *вся ваша наука неправильная*. С ними нельзя спорить, потому что у них нет не только базовых знаний, в том числе и метазнаний о правилах игры, у них нет и ни малейшего желания слушать какие бы то ни было аргументы.

3

Это всегда глобальное, революционное начало, а в моих областях знаний это и формальные признаки — тысячи схем, кружочков, стрелочек, квадратиков, включенных один в другой и сводящих воедино микро- и макромиры.

4

Отношусь к этому с бешенством, не пропускаю никогда, пишу резкие рецензии и очень жестко реагирую устно, если приходится оказаться на выступлениях этой публики. Мераб Мамардашвили говорил: «Точность мышления есть нравственная обязанность того, кто к этому мышлению приобщен. Дьявол играет нами, когда мы не мыслим точно». Именно так и я считаю.

ЕВГЕНИЙ ЧЕРНЫХ

1

Кажется вполне очевидным — и даже без специальных статистических расчетов — что основная масса «постижений» в сфере лже- или квазинауки приходится на гуманитарную область. А среди подобного рода «открытий» прежде всего страдают история, археология, антропология. Можно полагать, что в перечне причин такого рода предпочтительной локализации лженаучных «истин» выделяются две важнейшие.

Евгений Николаевич Черных
Институт археологии РАН,
Москва
evgenij.chernykh@gmail.com

Первой из них можно назвать распад советской империи. Второй и тесно связанной с первой причиной послужило стремительное исчезновение марксистско-ленинской доктрины. Ведь последняя в годы существования советской империи играла роль безусловного абсолюта, по сути безоговорочно объяснявшего окружающий мир и утверждавшего будущий сценарий основных этапов всемирного развития. Иных толкований эта доктрина, как правило, не допускала.

Любая империя и ее титульная нация или же этнос в периоды своего роста присоединяет, подчиняет, пытается ассимилировать этносы иные — в те времена более слабые. При этом лидеры титульной нации очень часто стараются делать вид или же и впрямь думают, что включение в имперскую систему иных народов происходит вполне добровольно, с огромным желанием и что это несет подчиненным народам одни лишь блага. На самом деле даже внешне добровольное вхождение и признание подчиненности таит в себе тяжкую национальную обиду угнетенности. Обида эта чаще всего тщательно скрывается, но в реальности никогда из памяти поколений не исчезает и столь же бережно ими культивируется в течение сотен лет.

Не сознавая этого и гордясь собственным величием, имперская нация невольно запускает в свою систему те болезнетворные микробы, которые, как правило, будут играть решающую роль в печальной и финальной судьбе империй. Титульная нация слабеет, имперская система покрывается трещинами, распадается, и тогда немедленно происходит резкая активизация жизнеспособности до последнего времени латентных групп «микробов». Болезнь может развиваться чрезвычайно быстро и необратимо. Эти «микробы» играют роль своеобразного динамита, готовящего катастрофический взрыв, грозящий разрушением тому гиганту, что еще совсем недавно казался неколебимым. Впрочем, это довольно-таки обычный сценарий распада любых имперских систем независимо от времени их существования.

Именно здесь всплывает на поверхность причина вторая, которая уже прямо касается вопроса о лженауке. Вырывающемуся из тесных «объятий» гибнущей системы этносу-страдалицу абсолютно необходим исторический базис, позволяющий утверждать его исконные мощь и неповторимость. Здесь мы также сталкиваемся со своеобразным архетипом самоидентификации любого народа. Желанный базис легче всего отыскать в исторических документах, но, пожалуй, много лучше нащупать его в материалах археологических или даже палеоантропологических. Археологические древности предпочтительнее исторической документации, поскольку они отличаются от

письменных материалов своей безгласностью, и потому могут быть интерпретированы при полной свободе изъятий и в какой угодно манере.

Почти всегда творцом-демиургом подобного народа должна быть фигура-символ, в которой были бы сконцентрированы такие высочайшие признаки, как мощь, неустрашимость, всепобедимость, возможность прозревать будущее. Этими качествами такого рода фигуры, как правило, одарены благорасположением высших, божественных, сил. И совсем нетрудно бывает выстроить ряд из реальных исторических личностей вроде Аттилы или же Чингисхана, но окутанных во мнении сочинителей особой аурой внеземной благодати. Однако несравненно более обширным кажется ряд персон, которые никогда в исторической реальности не существовали, но которым прочно зарезервировано место во множестве нынешних лженаучных публикаций. Среди них, например, многочисленные попытки утвердить истоки тюркских народов среди шумеров Месопотамии, создававших свою культуру еще в V тыс. до н.э. Или, скажем, ставшая ныне печально знаменитой «Книга Велеса», начинающая историю русичей с IX в. до н.э., от мифического праотца Богумира, который в те отдаленные времена якобы жил в далеком Семиречье. От его детей и пошли славянские племена древлян, кривичей, полян, северян, руссов и т.д. Интересно, что и в этом фальшивом источнике отразилось желание неких квазиученых кардинально удревнить историю бесспорно могучей титульной русской нации на полтора тысячелетия, чтобы ее необычайный характер и неповторимая история были ясны всякому. Впрочем, IX тысячелетие — не предел, и прямые истоки руссов греются некоторым еще в палеолите.

Разумеется, перечисление бесконечных примеров такого рода смысла не имеет. Однако во всех них отчетливо прослеживаются элементы отнюдь не научного, но уже религиозного свойства: верьте нам, верьте — ведь все это было именно так! И при этом никаких доказательств, либо они столь же фальшивы, как и сочиненная сравнительно недавно «Велесова книга». В недрах советской империи марксистско-ленинская доктрина, являвшаяся, конечно же, достаточно примитивным и сжатым переложением исходных взглядов классиков этой философии, кроме безусловно отрицательной в жизни нашего общества роли имела также и положительную сторону. Она играла роль некоего фильтра, не допускавшего широкого распространения пышного букета лживых гипотез, не только буквально захлестнувших наши традиционные по форме публикации, но и особенно жестко поразивших Интернет. Сейчас никаких фильтров не существует, и об этом можно лишь сожалеть.

2

При переходе из одной науки в другую, пусть даже близкую и смежную, при пересечении рискованного рубежа исследователь, конечно же, может оказаться в объятиях квазинауки. Здесь на передний план выступает научная этика: ученый должен всегда этого опасаться и помимо всего предупреждать читателя о своем относительном непрофессионализме. Пожалуй, наиболее ярким примером такого «скатывания» служат бесчисленные публикации математика академика А.Т. Фоменко и его коллеги Г.В. Носовского с их разработками «Новой хронологии». На базе тех методов и допущений, которые абсолютно неприемлемы для профессионалов — историков и археологов, авторы предлагают совершенно иную картину хронологических этапов развития человеческих культур. Ни в России, ни тем более за ее пределами предложенные заключения не смогли убедить в их правоте ни один профессиональный коллектив ученых.

Скатывался в квазинауку и Л.Н. Гумилев, когда выдумывал факты со ссылками на якобы существовавшие неведомо где источники. Его очень трогал еврейский вопрос, и в своем поразительном для потомственного российского интеллигента антисемитизме он порой едва ли не зеркально мог повторять изречения Адольфа Гитлера. Скажем, наш автор усматривал в иудаизме верхушки хазар основную причину трагической гибели процветающего каганата. Захватившие власть коварные евреи намеренно спланировали очень сложные биосоциальные отношения: «Тюрки награждали хазарок детьми, которые вырастали хазарами с повышенной пассионарностью. Евреи извлекали из хазарского этноса детей, либо как полноценных евреев (мать еврейка), либо как бастардов (отец еврей), чем оскудняли этническую систему, а тем самым вели ее к упрощению. <...> Более того, они захватили весь Великий Шелковый Евразийский путь от Китая до Франции, и уже тогда в их руках оказались все нити евразийской геополитики. Так, “<...> в середине IX в. хазарские евреи договаривались с норманнами о разделе Восточной Европы, <...> а к началу X в. они захватили ее почти всю”» [Гумилев 1993: 388–407].

Теперь слова глубочайшей убежденности Адольфа Гитлера об исконности зла в евреях:

«Конечно, еврейской целью является денационализация, сплошная гибридизация всех других народов, снижение расового уровня наивысших, а также покорение этого расового месива путем истребления народной интеллигенции и замены ее представителями собственного народа <...> Планомерно портя женщин и девушек, сам он (еврей) не останавливается и перед тем, чтобы в еще большем масштабе разрушать кровные узы у других».

«Еврей — это, пожалуй, раса, но не человек. Он просто не может быть человеком в смысле образа и подобия Бога Вечного. Еврей — это образ и подобие дьявола. Еврейство означает расовый туберкулез народов» [Фест].

Однако все это уже далеко за пределами истинной науки.

3

Чаще всего это следует из полной ясности для автора подобно-го сочинения ответов на поставленные вопросы. Ему не представляет никаких затруднений решить практически любую запутанную и сложную проблему. Раньше — еще при советской власти — я был довольно частым автором научно-популярных журналов типа «Знание-сила», «Наука и жизнь». Как правило, жанр «науч-попа» требовал постановки сложных вопросов и открытого для их грядущего обсуждения пространства. Почти непременно и сразу на мои публикации откликались те читатели, которым все было предельно ясно. Им не требовались долгие размышления — окончательные решения у них созрели сразу и дискуссии не предполагали...

Я припоминаю лишь один серьезный отзыв, требовавший контакта с моим респондентом. В других случаях такого рода дискуссии могли грозить неприятностями. Еще один случай привел меня и моего весьма образованного друга к ложным выводам относительно автора сочинения. На одну из моих статей я получил обширный отклик, где с позиции марксистско-ленинской методологии предлагалось решение сформулированной мною проблемы. Я — не весьма ушлый в тогдашнем толковании марксистских догм — показал письмо моему другу, который был в этом отношении намного более подкован. Тот определил автора послания как вероятного зав. кафедрой философии какого-нибудь провинциального вуза. Однако сочинитель сумел разыскать меня, и — полный конфуз для меня и моего друга! — им оказался 25-летний молодой человек без высшего образования. Стало быть, в его сознание впечатались, наверное, еще в школе ходульные формулировки марксистско-ленинской доктрины, которыми он столь легко мог оперировать.

Порой действительно не сразу можно уловить смысл того или иного творения. Вот перед нами «открытие века» — Аркаим, «страна городов» в Южном Зауралье, и его автор Г.Б. Зданович, некогда неплохой ученый. Аркаим — небольшой, вполне заурядный и мало выразительный сакральный центр некоего племени эпохи бронзы, обитавшего там в начале II тыс. до н.э. Слой Аркаима содержит достаточно убогий археологический материал. Однако около двадцати с небольшим лет назад Зданович объявляет этот пункт едва ли не центром зарождения и формирования новой евразийской духовности. Порази-

тельно, но активная реклама сыграла свою роль, и к Аркаиму стал нарастать своеобразный и массовый «хадж». По мнению автора этой гипотезы и его соратников, те многие тысячи посетителей — причем самых разнообразных по характеру представлений о мире — вселили в общество вполне очевидную надежду, что именно «здесь, на Аркаиме, и может родиться новая система взаимодействия человека и мира», и систему эту должно понимать как «ритуальный контакт человека-неоязычника с Богом и Миром».

Параллельно писатель-сатирик Михаил Задорнов, также желающий разъяснить всем, как устроен окружающий нас мир, в своем фильме «Аркаим. Стоящий у солнца» указывает на три события XX столетия, потрясших, по его мнению, весь этот мир: Великая Отечественная война 1941–1945 гг., полет Гагарина в космос и, наконец, третье — открытие Аркаима. Перечень этих событий столь любопытен, что изречения сатирика не требуют сколько-нибудь пространных комментариев. И еще один пример. В своей книге «Атланты, арии, славяне: история и вера» Александр Асов утверждает что «Москва — это Третий Аркаим» [Асов 2001: 427–438]. И в этом случае, пожалуй, также лучше обойтись без дискуссии.

4

Почти не обращаю внимания. Попытаться бороться с этим безграничным и безостановочным гейзером «гипотез и объяснений» окружающего нас мира довольно бессмысленно — не хватит времени на науку. С любопытством? Пожалуй, да. Вот, например, в случае с Аркаимом меня занимает вопрос о зарождении массового спроса на новую религию. Значит, прежняя — марксистско-ленинская — скончалась, а традиционное православие или же ислам неоязычников не прельщают... И все это свершается на наших глазах, ведь мы живые свидетели этого процесса. Но в данном случае возникает проблема, которую могут решать лишь социальные психологи, а археологам она не под силу.

Библиография

- Асов А. Атланты, арии, славяне: история и вера. М.: ФАИР-Пресс, 2001.
- Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. М.: Экспрос, 1993.
- Фест И.К. Адольф Гитлер. Т. 2. Кн. 3. Электронная версия перевода с немецкого языка <<http://tululu.ru/b13145>>.

ВИКТОР ШНИРЕЛЬМАН

Наука, псевдонаука, альтернативная история

1

Эпоха перестройки ознаменовалась небывалым всплеском альтернативной истории. Прежняя привычная схема исторического развития России оказалась ветхим сооружением, требующим либо капитального ремонта, либо полного сноса и замены зданием, построенным по совершенно новому проекту. Но вопрос о том, каким надлежало быть этому проекту, оказался настолько животрепещущим, что в оживленные дискуссии быстро втянулись массы участников, причем профессиональные ученые составляли лишь относительно малую и далеко не самую яркую их часть. Информационное пространство заполнили неопиты, смело бравшиеся за решение самых сложных исторических проблем. Предлагавшиеся ими версии прошлого отличались неожиданностью и новизной и неизменно встречали живой интерес у самой широкой публики. Профессионалы, приученные к осторожности и взвешенности своих суждений, были неспособны успешно конкурировать на этом поле. Публике их построения казались безликими и лишенными увлекательности, и борьба за читательский интерес была ими безнадежно проиграна. Разумеется, в этом сказался определенный консерватизм многих профессионалов, неготовых к решительному отказу от прежних, казалось бы, устоявшихся представлений. Здесь сыграл роль целый ряд факторов: во-первых, пиетет научных учителей, во-вторых, привычка руководствоваться сигналами, исходящими от власти, в-третьих, трудности радикального отказа от философско-методологических догм, десятилетиями царствовавших в науке, и, наконец, тот факт, что выработка новых подходов и освоение новых, ставших доступными источников требовали времени.

Феерический успех «альтернативных историков» был встречен в научной среде с настороженностью и тревогой, быстро перешедшими во враждебность. Многие специалисты старались просто не замечать их деятельности, воспринимая ее как «мусор», неизбежно появляющийся в поле масскультуры. Помещая себя на недостижимую высоту, научные «мандарины» тешили себя образом «властителей дум» и не задумывались об опасности маргинализации в условиях господства всеобщего китча. У других ученых деятельность «альтернативщиков» вызвала открытую неприязнь, и они с возмущением набрасывались на них, обвиняя в «искажениях исторической истины», «беспределе в науке», «дилетантских подходах», «нехватке профессиональных знаний», «неумении обращаться с историческим материалом» и пр. Третьи отвечали едкой сатирой, пытаясь выставить своих нежелательных конкурентов в смешном или неприглядном виде. Однако от всего этого поток «альтернативной истории» нисколько не иссякал, напротив, ряды неофитов пополнялись все новыми именами. Они не только успешно оборонялись, но переходили в наступление, обвиняя профессионалов в сервилизме, подбострастном обслуживании скомпрометировавшей себя власти или даже сотрудничестве с тайной полицией, а также в слепом использовании отживших «колониальных» и «имперских» подходов.

Все это сигнализировало об обретении наукой нового качества — в условиях демократизации она становилась частью масскультуры. У этой проблемы имелся и особый ракурс, связанный с жадным поиском далеких предков, чем в годы перестройки активно занялись интеллектуальные элиты, представлявшие отдельные этнические группы. Именно тогда произошел первый безудержный выплеск «энергии памяти» (термин М.Н. Губогло), ранее ютившейся в темных закоулках и подворотнях андеграунда и контркультуры. Мне это тогда показалось интересным, ибо демонстрировало своеобразие культурного творчества в революционную эпоху в условиях ломки старого уклада и становления нового. Особенно захватывающими представлялись этнические конструкты, с одной стороны, отважно отвергавшие прежние академические догмы, но, с другой — слепо следовавшие устоявшимся академическим канонам в рамках сложившегося к тому времени поля исследований этногенеза. Что это за явление? Почему, мечтая о будущем, люди всеми силами устремлялись в прошлое, причем не в ближайшее, а в отдаленное, покрытое мраком забвения?

Все же сперва следует определить, о чем именно мы говорим, с каким явлением имеем дело, не путаем ли мы разные вещи, пытаясь загнать их в прокрустово ложе некоего единого феномена. Мне кажется, что «псевдонауку» («лженауку», «пара-

науку») все же следует отличать от «альтернативной истории», хотя резкую границу между ними вряд ли можно провести. К «альтернативной истории» следует относить «девиантные версии истории», не укладывающиеся в границы общепринятой парадигмы и потому вызывающие неприятие в научном истеблишменте. Но общепринятая парадигма задается не столько исходными материалами исследования, сколько их осмыслением, находящимся под сильным влиянием господствующей философии, доминирующего мировоззрения — того, что называется «духом времени». Поэтому историософские подходы колониального или имперского времени отличаются от тех, которые свойственны постколониальной эпохе и эпохе демократии, а подходы эпохи раннего (классического) национализма XIX в. — от подходов эпохи глобализации и господства мультикультурализма. Ведь господствующая парадигма влияет на оценки, а оценки определяют выбор тех или иных фактов и наделение их теми или иными значениями (важные, неважные или вообще не заслуживающие внимания). Вот почему история маргинальных и дискриминируемых групп (имеются в виду не только малые этнические группы, но и социальные, гендерные, профессиональные и пр.) поначалу неизбежно развивалась в рамках «альтернативной истории». Именно она поднимает вопросы и обращает внимание на факты, которыми доминирующая историософия пренебрегает. А такие вопросы и такие факты нередко не только открывают новые области знания, но и заставляют по-новому оценить историческую ситуацию, взглянуть на нее другими глазами, под иным углом зрения. Мало того, такая «альтернативная история» активно участвует в политике и провоцирует «культурные войны» [Иглтон 2012]. А с изменением исторической обстановки или философской парадигмы (научные революции, по Куну) она может перестать быть альтернативной и занять достойное место в науке.

Скажем, то, чем поначалу занимался Мишель Фуко («история тюрем» и пр.), тоже воспринималось как некая «альтернативная история». Или другой более близкий нам пример. В конце XIX в. русскую археологию на Северном Кавказе интересовала главным образом ранняя история христианства и попутно — история древнеиранского наследия (тогда определенной популярностью пользовалась идея близкого родства русских со скифами). Тюркские древности тогда мало кого увлекали. И неслучайно именно тогда была обнаружена Зеленчукская надпись, получившая определение иранской. Никто и представить себе не мог, что там могли встречаться древние надписи на тюркских языках. И только после 1957 г., когда карачаевцы и балкарцы вернулись из депортации и местной археологией занялись их собственные специалисты, здесь была обнаружена тюркская руника.

Вот почему я не склонен безоговорочно причислять «альтернативную историю» к «псевдонауке». Но, так как «альтернативная история» имеет маргинальный статус и обращена к маргинальным группам, неудивительно, что ею, как правило, занимаются дилетанты, а если и ученые, то не обладающие тем объемом знаний, кругозором и опытом, которые свойственны научному истеблишменту. Отсюда методологические и методические просчеты, ошибочные суждения, неумение отличить твердые факты от фантазий (в частности, почерпнутых из фольклора) и т.д.

Еще одним важным моментом является инструментализм, и в этом «альтернативная история» смыкается с «псевдонаукой»¹. Дело в том, что познавательная функция служит лишь одной из многочисленных функций исторической науки. Другой важной функцией является обслуживание идеологий, призванных мобилизовать массы для участия в заданном политическом проекте. Если иметь в виду этническую сферу, то следует говорить о способности истории подкреплять этническую идентичность, воспитывать чувство собственного достоинства, призывать к сопротивлению дискриминации, вдохновлять на позитивное творчество. Огромную роль при этом играет образ самобытного прошлого, не искаженного «чужеродными влияниями», ведь «подражание» чужакам мало приветствуется. Поэтому предкам надлежит не плестись в обозе чужого наследия, а проявлять самостоятельность и креативность. Так и возникает потребность в образе славных предков и по мере возможности собственной древней государственности. Однако для этого необходимо этих славных предков и эту государственность обнаружить. Отсюда юношеский романтизм, свойственный такого рода построениям. Он-то и заставляет слегка приукрашать историю, оказывает влияние на отбор, оценку и интерпретацию фактов, а также поощряет обнаруживать «псевдофакты» или даже создавать фальшивки. Все это чаще всего связано с вольным использованием фольклора, а также с наделением археологических и лингвистических данных особым «полезным» смыслом.

Последнее заслуживает особого обсуждения. Ведь интерпретация полученных данных является самым слабым местом как археологии, так и исторической лингвистики. Скудные и фрагментарные данные, добываемые этими науками, с трудом поддаются строгому истолкованию. Чаще всего речь идет о нескольких равноправных гипотезах, причем иной раз основанных на «здравом смысле», что и создает пищу для бесконечных научных дискуссий. Дилетанту в этом трудно разобраться, и он

¹ В этом эссе я обсуждаю не вообще «псевдонауку», а этнонациональный миф, который выступает ее частью, но частью весьма своеобразной.

наивно предлагает свое понимание, не осознавая всей сложности материалов, с которыми имеет дело. Но ему этого и не требуется, так как перед ним стоят совершенно иные задачи. Мало того, во многих случаях и перед специалистом стоит проблема выбора, и нам важно понять, почему он выбирает ту или иную интерпретацию в ситуации, когда выбор не предопределен однозначностью материала. В этом случае в дело нередко вступают вненаучные соображения и эмоции, связанные с политическими или этническими предпочтениями данного ученого. Вот почему, например, школьные учебники по истории России, написанные на одном и том же материале либералом и консерватором, читаются как истории двух разных стран. И вот почему «псевдоисторические» построения можно обнаружить не только у дилетантов, но и у людей, наделенных научными степенями и званиями.

Если речь идет об этнической истории, то в проблемных ситуациях перед специалистом иной раз встает дилемма — сохранять верность научной методологии или «служить своему народу». К последнему его могут понуждать не только личные эмоции и пристрастия, но и окружающая среда (родные, соседи, сослуживцы и т.д.), не прощающая «предательства». В этом случае можно говорить об историческом мифе, в котором живет группа, и так называемые национальные истории, безусловно, являются национальными мифами в том смысле, что они сознательно так организуют исторические материалы, чтобы те эффективно обслуживали национальную идею. Вот почему и истории соседних народов, написанные на одних и тех же материалах, могут разительно отличаться интерпретацией этих материалов. В ряде случаев речь идет о сознательном отборе фактов — факты, мало устраивающие национальную идею, маргинализуются или вовсе замалчиваются. В таких проектах участвуют профессиональные историки, и они вряд ли согласятся трактовать свои построения как «псевдонауку». Но их соседи, недовольные созданной ими версией истории, вполне могут использовать этот термин. В этих условиях и возникает борьба за прошлое и высказываются претензии в присвоении чужого прошлого. Из этого должно быть ясно, что провести четкую границу между наукой и «псевдонаукой» невозможно, между ними лежит серая зона, которую иной раз навешают и профессионалы, увлеченные национальной идеей.

У истории имеется и еще одна функция. Она способна создавать язык борьбы и сопротивления. В условиях авторитарных режимов, жесткой цензуры или строгих законов, сужающих рамки свободы слова, интеллектуалы-диссиденты могут использовать историю как метафорический эзопов язык, позволяющий говорить о современных проблемах с помощью исто-

рических аллегорий. Одним из первых силу такого языка показал, как известно, Шарль Монтескье. И сегодня некоторые интеллектуалы следуют его примеру, рассуждая о якобы «природном» демократизме древних славян или демократии в Новгородской республике эпохи Средневековья. Аналогичным образом индейцы-ирокезы доказывали, что проект американской конституции был якобы заимствован у них.

Иными словами, во-первых, история и родственные ей науки тесно связаны с животрепещущими общественными проблемами и потому значение этих наук выходит далеко за рамки одной лишь познавательной функции. Во-вторых, сам характер материалов (и чем дальше в прошлое, тем в большей мере) таков, что он допускает разные интерпретации и выстраивание разных моделей. В-третьих, при всеобщей образованности современного населения кажущаяся понятность исторических текстов (летописей, хроник, документов), фактов языка (носитель языка считает, что он обладает всем необходимым, чтобы использовать его для исторических построений), даже археологических находок (на них можно посмотреть, а иной раз их даже можно потрогать) обладает необыкновенной привлекательностью. Не только дилетант не ощущает сложности источниковедческих проблем, но сегодня даже не всякий профессионал адекватно их понимает. В-четвертых, демократизация, отвергающая элитарность научных знаний, также делает науку о прошлом полем, открытым для всеобщего участия, причем участия заинтересованного. В-пятых, следует учитывать рост религиозности, причем не столько как приверженности каким-то конкретным религиям, сколько как усиление иррационализма в ущерб рациональному знанию. Сегодня научные достижения нередко оцениваются обществом не по убедительности аргументации, а по авторитетности их автора или популизму его построений. Отсюда, например, небывалая и удивительная (и явно незаслуженная) общественная слава Л.Н. Гумилева.

Таким образом, необычайная мода на науки о древности (древняя история, археология, историческая лингвистика) не в последнюю очередь определяется сегодня этнонациональным фактором в условиях существования федерального устройства, основанного на этнических автономиях, и наличия реальной или воображаемой дискриминации, а также национализмом в недавно образовавшихся государствах. Именно в этих условиях легитимация политической автономии или независимости требует апелляции к этноисторическому мифу, испытывающему неутолимую тягу к достойному прошлому.

2

Мне несколько раз приходилось менять специализацию, и поэтому для меня этот вопрос очень актуален. Когда мне пред-

стояло иметь дело с новой научной дисциплиной, я прежде всего начинал с азов — много занимался самообразованием, читал массу базовых текстов, написанных авторитетами в данной области, интересовался особенностями проблематики, подходами и методами, знакомился с основными концепциями и теориями, а также, разумеется, обсуждал свои идеи со специалистами. В особенности полезно знать историю науки, историю смены парадигм, чтобы не попасть в курьезную ситуацию, начав «изобретать велосипед». Все это очень непросто и требует времени и сил, чего у многих просто не бывает. Сегодня псевдоистория сплошь и рядом апеллирует к «авторитетам» прошлых эпох, чьи взгляды были пересмотрены и отвергнуты и остались только в истории науки, а то и к эзотерикам, чьи идеи изначально лежали за пределами науки. Но адепт псевдонауки может этого просто не знать, и для него слово автора XVII–XVIII вв. выглядит столь же авторитетным, как мнение современного специалиста, а то и авторитетнее.

Псевдонаука, как правило, игнорирует принятые в науке методы и опирается на собственные характерные подходы. Когда-то Дж. Коул выделил среди них следующие: крайний партикуляризм и нежелание рассматривать сравнительные материалы, приверженность одной узкой теме и игнорирование более широкого контекста или родственных фактов, искусственный отбор фактов, упрощенный подход к историографии и замалчивание или необоснованная дискредитация своих оппонентов, полный отказ считаться с мнениями авторитетных ученых и возведение на пьедестал лишь тех, чьи взгляды соответствуют настроениям мифотворца, убежденность в своем умении лучше разобраться в фактах древности, чем это могут сделать специалисты, повышенная эмоциональность, проявление псевдоэрудиции и нагромождение лавины фактов, сочетающееся с пренебрежением к их глубокому анализу, выборочное цитирование с указанием всех степеней и регалий понравившихся авторов, хотя заслуги последних, как правило, связаны с совершенно иными областями знаний, игнорирование предшественников и отсутствие даже попыток научной критики источников и т.п. Среди прочих характеристик Дж. Коул упоминал и этноцентризм, который, как он справедливо отметил, может порой оборачиваться расизмом [Cole 1980: 5–9]. К этому я бы добавил, что сегодня у псевдонауки имеется собственный обширный список авторитетов, чьи работы и помещаются в список цитируемой литературы, где имена истинных ученых, если и встречаются, то редко.

В свою очередь Н. Бен-Йехуда выделяет следующие черты, присущие политическому мифу: ореол святости, высокая степень символизма, элемент дидактики и морального инструк-

тажа, требование соответствующих практических действий, сознательный отбор одной информации при полном игнорировании другой, упрощенный «черно-белый» подход к действительности [Ben-Yehuda 1995: 282–283].

Иными словами, исторический миф, во-первых, играет инструментальную роль — он обслуживает совершенно конкретную современную задачу, будь то консолидация группы, обеспечение ей достойного места в мировом сообществе, оправдание ее господства над другими группами, ее территориальные претензии, требования политической автономии или стремление противодействовать культурной нивелировке и сохранить свое культурное наследие. Во-вторых, миф не признает различий и отвергает вероятность нескольких равнозначных гипотез, он основан на стереотипизации окружающей прошлой или нынешней действительности. Ведь миф апеллирует не к «естественному» состоянию мироздания, а к его моральной сущности, основанной на системе ценностей, принятой в конкретном обществе. Иногда миф делает акцент на статичной неизменной в принципе ситуации — так было в прошлом, так должно быть в настоящем и так, безусловно, будет в будущем, качественных сдвигов не предполагается. Однако встречаются и прямо противоположные мифы, требующие решительным образом переделать действительность. Мало того, приписывая те или иные желательные атрибуты далеким предкам, миф пытается положить их в основу современной национальной идентичности. Следовательно, в-третьих, миф сознательно упрощает действительность и прибегает к неправомерным (с научной точки зрения) обобщениям на основе единичных и зачастую весьма неоднозначных фактов. Он сплошь и рядом базируется на редукционистском подходе. И понятно почему — именно в силу своей инструментальной роли.

Сложность в том, что некоторые из перечисленных особенностей можно иной раз встретить и в работах специалистов. Например, замалчивание некоторых неудобных фактов, мешающих чистоте заданной концепции, встречается сегодня и в науке — так это наука или псевдонаука? Поэтому, на мой взгляд, нет четкой легко уловимой границы между наукой и псевдонаукой — эта граница отличается зыбкостью и легко преодолима.

3

Для меня один из главных показателей — то, кто именно является авторитетом для данного автора, на чьи идеи он в первую очередь ссылается. Кроме того, симптомом может считаться перенасыщенность текста сложными терминами и словесными оборотами, которые автор и сам плохо понимает. Наконец, настаивают апелляции к концепциям и авторитетам, которые не имеют прямого отношения к рассматриваемой тематике.

В псевдонаучных текстах геолог оказывается «историком», философ — «археологом», а моряк и путешественник — «доктором исторических наук». Я уже не говорю об ошибочном использовании научных данных или неверном написании некоторых известных имен — дилетант по наивности таких ошибок не замечает.

Но, думаю, нередко мы встречаем более сложную ситуацию, ибо есть разные градации псевдонаучности. Если некоторые тексты такого рода можно определить безошибочно с первых же строк, то другие открывают свою псевдонаучную сущность только после глубокого анализа. Мало того, иногда и специалисты расходятся в своих оценках. Например, если для одних концепция этногенеза Л.Н. Гумилева является очевидным образцом псевдонауки, то другие (и таких сегодня немало) считают ее образцом «высокой теории» и стремятся всячески ее развивать. Как я отмечал выше, грань между наукой и псевдонаукой остается весьма зыбкой. Все же имеются критерии, позволяющие провести различия между ними. Во-первых, разными являются цели: если специалист стремится найти историческую истину, то мифотворец нередко манипулирует историческими данными для достижения совершенно иных целей, связанных, в частности, с современной этнополитикой. Во-вторых, если историческое произведение открыто для обсуждения и допускает внесение коррективов и изменений в соответствии с новой исторической информацией, то псевдонаука выстраивает жесткую конструкцию, нетерпимую к критике и требующую слепой веры.

4

Как ученый должен реагировать на расхожие мифы о прошлом — игнорировать, иронизировать, разоблачать, терпеливо вести с ними полемику, беспристрастно изучать или же идти им навстречу ради каких-либо сиюминутных выгод? Что стоит за этими мифами — низкая образованность и дилетантизм их творцов, сознательное стремление к самоутверждению путем обретения «славных предков», мобилизация общества на решение определенных политических задач, легитимация неких философских идей с помощью апелляции к длинной исторической перспективе или поиск исторических оснований для создания и укрепления «образа врага»? А может быть, такие кажущиеся странными профессионалам представления о прошлом являются выражением некоего эзопова языка, пытающегося говорить об острых проблемах современности с помощью эвфемизмов и метафор?

Однозначных ответов на эти вопросы нет, и редко кто пытается искать такие ответы. Мало того, если одни авторы эмоционально упрекают создателей национальных мифов в «дилетантизме» и «искажениях», то другие, напротив, яростно набрасываются

на тех немногих ученых, которые пытаются спокойно анализировать роль национализма в конструировании далекого или относительно недавнего прошлого. Примечательно, что сегодня бывшие советские критики «буржуазного объективизма» и «буржуазных фальсификаций истории» переквалифицировались в ярых сторонников националистической версии прошлого и с прежним энтузиазмом «разоблачают» тех, кто ставит такие версии под сомнение. Причем особую неприязнь они питают не к защитникам конкурирующих с ними национализмов, а к неангажированным специалистам, занимающимся анализом образов прошлого и процессов их конструирования. Ведь иной позиции, кроме апологетической в отношении собственного национализма, местные «ученые-патриоты» не приемлют. Все это создает искусственную напряженность в самой научной среде, так как специалисты стараются избегать больших вопросов, связанных с прошлым и его образами, культивирующимися национализмом. Тем самым, вопреки былым призывам эпохи перестройки, идеология вовсе не покинула область исторического знания, а с новой силой, хотя и в ином обличье, проявляется в этноцентристских подходах к прошлому.

Думаю, что пренебрежительное или саркастическое отношение к упомянутым построениям вызывает лишь озлобление и потому непродуктивно. Кроме того, это не позволяет обнаружить истинные мотивы деятелей «псевдонауки» и причины популярности их творчества у широкой публики. Так проблема обретает более сложный, но и более интересный ракурс. Поэтому такие построения заслуживают прежде всего глубокого анализа, чем я и занимаюсь вот уже двадцать лет. Речь идет о социальной и культурной роли представлений о прошлом, причем представлений как научных, так и псевдонаучных. Замечу, что если учеными миф о прошлом однозначно отвергается как «псевдонаука», то людей искусства он может вдохновить на создание шедевров, а политики могут использовать его для успешной мобилизации масс. Кроме того, особенности мифов о прошлом и их популярность дают важную информацию о массовых настроениях. Вот почему нам необходимо анализировать социальную и культурную роль науки и того, что называется «псевдонаукой». И сегодня, как мне представляется, это является одной из насущных задач культурной антропологии.

Библиография

- Иглтон Т. Идея культуры. М.: Высшая школа экономики, 2012.
- Ben-Yehuda N. The Massada Myth. Collective Memory and Mythmaking in Israel. Madison: University of Wisconsin Press, 1995.
- Cole J.R. Cult Archaeology and Unscientific Method and Theory // Shiffer M. (ed.). Advances in Archaeological Method and Theory. N.Y.: Academic Press, 1980. Vol. 3. P. 1–33.